

Б. П Р И Л Е Ж А Е В А - Б А Р С К А Я



**КРЕПОСТНОЙ
ХУДОЖНИК**

ДЕТГИЗ
ЛЕНИНГРАД
1956



В. А. Тропинин (1776—1857) — автопортрет.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Б. П Р И Л Е Ж А Е В А - Б А Р С К А Я

КРЕПОСТНОЙ ХУДОЖНИК

П О В Е С Т Ь

О Ж И З Н И

Х У Д О Ж Н И К А

В. А. Т Р О П И Н И Н А



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
ЛЕНИНГРАД 1956

$\frac{\text{Ср}}{\text{П 76}}$

Рисунки Т. Шимаревой
Оформление В. Зенькович

Помещенные в книге
страничные иллюстрации —
репродукции с картин
В. А. Тропинина

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

ВАСЯ ЗАХВОРАЛ

Сенька, куда ты стол несёшь? В боскетную, розей, неси, а не в жёлтую гостиную!

— Проща, дурья голова, чубуки-то, поди, не на месте! Уморите вы меня! В гроб вгоните! Осрамите перед графом!

Совсем размякший от волнения и суеты, вытирая полное, побагровевшее лицо широчайшим синим платком, осторожно присел Андрей Иванович на краешек золочёного дивана, крытого пёстрой тканью в букетах и райских диковинных птичках.

Диван этот занимал больше половины узкой проходной комнаты, отчего и сама комната носила название диванной. Она помещалась в центре большого графского дома. По ней беспрерывно сновали то в одну, то в другую сторону оторопевшие от окриков управляющего и совсем сбитые с толку дворовые.

— Филемон, беги к матушке графине в серебряную кладовую. Их сиятельства серебро для стола вынимают. Да поторапливайся, ну!

С неожиданным для своего грузного тела проворством, сорвавшись с места, Андрей Иванович Тропинин устремился вслед за медлительным Филемоном.

В то время, как необычайная суета наполняла дом, в саду, в круглом павильоне, шла репетиция концерта. Итальянец Лавзони, нанятый графом за большие деньги для управления крепостным оркестром, с особенным оживлением размахивал своей дирижёрской палочкой, а Ваньки, Стёпки и Мишки, не спуская с неё глаз, старательно водили смычками по струнам. В глубине парка на помосте, затянутом зелёным сукном, три пары танцовщиков готовились к представлению. Вечером, среди разноцветных фонариков и масляных плашек, пойдёт пантомима «Земира и Азор».

У девушки Вассы белый парик сбился на сторону, и изпод него выглянула маленькая косичка, но это её не смущает, она продолжает усердно выделять свои замысловатые па и, то прижимая руки к груди, то отбрасывая их в пространство, пытается изобразить радости и страдания пастушки Земиры.

И в доме, и в саду, и во дворе, где псари собрали графских собак, приготавливаясь к предстоящей охоте, — везде чувствуется напряжённость и необычайное оживление.

Только в девичьей не заметно никакого возбуждения.

Русые и тёмные головы склонились над работой, руки ловко и привычно перебирают коклюшки или водят иглой по тонкому батисту вниз и вверх, вверх и вниз. Тишина полная. Слышно только, как скрипит тонкое полотно под Машиной иглой, как звенят медные булавки, сброшенные с подушки на стол.

Между пялец прохаживается Агафья Петровна, экономка-домоправительница, доверенное лицо старой графини. Агафья, или Агашка, как называют её девушки, — точно петух индейский, важный, надутый. Руки сложив на своём толстом животе, похаживает да поглядывает. Подойдёт к какой-нибудь девушке, разглядит работу, — не понравится что, она и хлоп по щеке: раз, другой и третий. И надо тотчас повиниться: «Виновата, матушка, Агафья Петровна, буду впредь больше усердствовать!» А не повинись — совсем беда: старой графине нажалуется. А как дело до графини дойдёт, начнёт сама судрасправу чинить — недолго и до конюшни! Нет, уж лучше

с Агашкой не связываться, потакать ей во всём. И уж больно злющая и пресамонравная баба!

— Агашенька, — прозвучал в тишине голос из сада, — иди сюда поскорее совет держать.

— Иду, матушка, иду, графинюшка, бегу, — и старуха закачалась на своих толстых ногах.

Агафья за дверь, а Маши, Фени и Кати, как по команде,



оторвались от работы, выпрямились, загомонили, залопотали.

Да и было о чём: молодую графиню Наталью Антонову сговорили за графа Моркова; по этому случаю и шли приготовления к празднествам.

Варька-«егоза» подсмотрела жениха и теперь тараторит:

— В гусарском мундире, красавец из себя, черноглазый, волосы пудренные или парик совсем белый-белый «а ля неж»!

— Ты откуда такие мудрёные слова выучила? Учёна больно стала, — сказала другая девушка.

— Да уж как я графинюшку одевала, она приказала: «Дай мой парик «а ля неж», то бишь совсем белый».

А жених-то и у царицы почётом пользуется, — молодой, а на войне отличился. Петрушка сказывал, что город он брал турецкий. Измаилом, что ль, тот город называют. Да и его самого-то чудно зовут, будто нехристь какой: «Ираклий»!

— Счастливая ты, Варька, да вот Дунюшка. Вас-то двоих молодая графиня с собой увезут!

— Надо думать! Я как вчера одевала Наталью Антоновну. . . — завела снова Варя.

— Не больно-то важничай: «одевала, одевала», — повторила ей в тон светлорусая, полная Катеринушка. — Вот Дунюшку-то, я наперёд знаю, Наталья Антоновна возьмут. Это мастерица так мастерица! Платочек какой вышила! Ангелочек со стрелой в колясочке едет, а впереди собачка бежит, а над ангелочками ветки качаются. Никто лучше её Наталью Антоновну и не оденет! И укоротит, когда надо, и фалдочки подберёт!

— Нахваливай, нахваливай, к будущей заправиле подъезжай лисой! Авдотьей Ивановной скоро величать станешь.

Дуня, молчавшая до сих пор, подняла глаза от работы.

— Не стыдно вам, девушки, не срамно? Чего лаетесь? Завидуете мне, что ль, что Наталья Антоновна меня в приданое берут, ровно вещь какую, ложку серебряную али корову?

— Не серчай Дунюшка, — пристыжённые девушки присмирели. — Всё же лучше с молодой графиней в Санкт-Петербург уехать, чем здесь с Агашкой-колотовкой век вековать.

— Да как еще возьмут-то? Хорошо, если всех вместе, а то как одну, а сестра с детьми, с Васькой, моим любимцем, здесь останутся, что тогда сказать, девоньки? Сердце ноет, ведь болен-то. . .

Не успела Дуня закончить начатую фразу, как дверь распахнулась и на пороге, под руку с молодым офицером, слегка покачиваясь в розовых своих фижмах, появилась сама графиня Наталья Антоновна, высокая, красивая, в напудренных волосах.

Смешались девушки, вскочили с мест, обмерли.

— Здравствуйте, девушки!

— Милости просим, ваше сиятельство, — певуче заговорили все хором.

Наталья Антоновна шаловливо поднесла палец к губам:

— Тс... матушка узнает, разгневается. Это мы так, тишком. — Наталья Антоновна обратилась к жениху, что-



то шепнув ему, очевидно показывая своё приданое. Глянула на Дуню, а у той большая слеза так и застыла на глазу.

— Что с тобой, девушка? — недовольно спросила графиня.

— Ваше сиятельство, графинюшка золотая, дозвоьте домой сбегать, — бросилась в ноги ей Дуня. — Васька наш занемог, помирает, може; душа моя вся изболелась.

Хмуро отстранилась графиня.

— Какой Васька? Ах, да, Тропинина Андрея Ивановича, мазун-то этот. Тут у нас, — обратилась снова к же-

ниху Наталья Антоновна, — дворовый мальчишка, сын управителя, занятый, рисовальщик! Что ни увидит, всё срисовывает. Препотешные картинки иной раз выходят. Вот Дунюшка, тётка его, тоже мастерица, первая у нас вышивальщица. — Что-то шепнул граф своей невесте, и Наталья Антоновна махнула рукой.

— Беги, Дунюшка, к своим, да поскорее, пока матушка с Агафьей занялись. Не хватились бы!

— Благодарствуйте, графинюшка, век буду бога молить, — сорвалась с места Дуня, целуя на лету платье Натальи Антоновны и руку у жениха.

Вслед за ней оставили девичью и неожиданные гости. Не успели девушки пошептаться о приключившемся, как в комнату вкатилась Агафья Петровна. Поправив съехавший на ухо платок, окинула взглядом горницу и увидела пустое место у Дуниных пялец.

— А Дунька-то где? — набросилась на ближе всех к ней сидевшую Машу, пребольно ущипнув её за плечо.

— Не извольте гневаться, Агафья Петровна, — Дуню молодая графиня услали к Ваське больному.

— Да что ты чушь мелешь? Откудова Наталье Антоновне в девичьей быть?

— Проглядеть изволили, Агафья Петровна; Наталья Антоновна с женихом пожаловали. . .

Оторопевшая, ничего не ответила Агашка (в другое время не спустила бы, что девушка, как равной, смеет ей отвечать) и снова выкатилась из комнаты доложить обо всём своей госпоже.

Тем временем Дуня уже добежала до крылечка обширной избы, находившейся на заднем дворе. Пользуясь особыми привилегиями, жил здесь, как главный управитель, Андрей Иванович Тропинин со своей семьёй. Дуня потянула за скобу и шмыгнула из сеней в горницу, где её старшая сестра расставляла миски для обеда.

— Аннушка, как Васька?

— Как это ты вырвалась, Дуня? Не было бы греха!

— Молодая графинюшка отпустила. Да не тяни душу, как хворый-то наш?

— Всё стонал, сердечный, маялся в жару, теперь притих.

Дуня выскользнула в соседнюю горенку, где на кожаном диване разметавшись лежал мальчик.

Лет пять назад лишилась Дуня жениха. Нагрубиянил Родион старому графу, и забрали его в солдаты. Порешила девушка ни за кого больше замуж не идти, но душой, жадной до ласки, всем сердцем привязалась к сестриной семье, в особенности к Васе, старшему племяннику.

Дуня наклонилась над диваном, где лежал больной, прислушалась к его дыханию.

Спутались на подушке волосы. Одна прядка прилипла ко лбу, и на нём проступили капельки пота.

— Мазун ты мой родименький! — вырвалось у неё громким шепотком.

Серые спокойные глаза ласково глянули на Дуню.

— Не плачь, Дунюшка, мне точно полегче.

Дверь приоткрылась, и выглянула Васина мать.

— Аннушка, малый наш улыбается!

— Чужало моё сердце, что не приключится беды, что поправится мальчишка. А отцу-то и посидеть некогда с сыном! Всё по графскому дому бегают.

— Вольный ведь он, Аннушка!

— Да что толку, что сам вольный, когда мы все в господской воле? Вот и заслуживает... Для ребят усердствует, для Васьки...

Вася не слушал, что говорила мать. Он дышал спокойно, ровно, видимо, уснул.

— Дуня, а Дуня, — раздался со двора детский голосок дворового мальчишки Пашки, — девушки звать велели, графиня гневается.

Дуня быстро поднялась. Анна Ивановна выпроваживала её, крестя: «Бог милостив! Храни тебя святая заступница!»

ЧЕРНОВОЛОСАЯ ДЕВУШКА

Прошло около двух лет с тех пор, как старшая дочь графа Миниха вышла замуж за Ираклия Ивановича Моркова. Вся семья Тропининых стала теперь Морковской. Наталья Антоновна увезла с собой в Санкт-Петербург из

новгородского имения любимицу свою Дунюшку-вышивальщицу и сестру её, Анну Ивановну, с детьми, а Андрей Иванович, хоть и не крепостной человек,¹ поехал за семьёй и по своей воле продолжал служить Наталье Антоновне и графу Моркову, как раньше служил отцу её, с усердием и преданностью.

Вот уже второй год привыкает Вáся к новой своей жизни в Морковском доме, к службе графского казачка. Второй год живёт он в громадном каменном городе, что называется Санкт-Петербург. Он знает, что за фигурной решёткой, светлыми плитками мощёного двора тянется улица строгая, чинная, за ней другая, там третья, четвёртая, либо сходясь, либо пересекая друг друга. Важные и величавые, расположились на этих улицах господские дома с колоннами и затейливыми решётками.

Невдалеке от графских хором привольно течёт величавая серая река. Сопровождая графа на прогулках, мимоходом глазает на неё Вася, но ни разу ему не удалось добежать одному до каменного отвесного берега и полюбоваться вдоволь шириной и простором как будто недовольной чем-то реки.

«Да, уж тут никогда не уйти на свободу, — и, поневоле вздохнув, вспоминает Вася родную деревню, город Череповец, уездное училище. — Лучше ведь всех учился, учителя любили, ласкали, и от товарищей обиды не знал. — Припоминает он друга своего Ваню, попова сына. — Счастливый парень, только отца и слушай, — а тут каждого бойся, кто постарше: и лакея, и графского камердинера и швейцара толстого. — Вася скосил глаза на тучную фигуру, окаменевшую у двери. — Ишь, важный какой, а чуть заслышит шорох, до земли сгибается. О графе и графине уж не говори! Перед ними не шелохнись». Но не хочется Васе о грустном думать, не хочется и Ваню вспоминать.

«Пусть живёт, радуется. Что мне на них, на счастливых, глядеть? Каждому своё».

¹ Граф Миних дал вольную Андрею Ивановичу Тропинину, но одному, без семьи.

Тяжело отзывается на Васе отцовская преданность графскому дому. Не любят его слуги. Каждый норовит щипнуть, за ухо схватить, за всякую провинность нажаловаться графу. Главный камердинер на отца за старую обиду зол и всё на мальчишке вымещает.

«Чудаки народ! — думает Вася. — И чего только ко мне привязываются? Мне-то сладко, что ль? Ровно статуи какой, сиди у графской двери и слушай то и дело: «Васька, подай; Васька, убери; Васька, принеси!...»

Зато в маленькой каморке под лестницей покойно и уютно. Здесь можно, притаившись, просидеть целый час, а то и два, и никто из снующих взад и вперёд лакеев, девушек и буфетчиков не заметит тебя, а если взобраться на облупившийся выступ в стене под круглым окошечком и прильнуть к стеклу, — будет видно, что делается на широком парадном дворе и даже дальше, за решёткой, на улице.

Вася давно высмотрел этот уголок, и всякий раз, когда покажется ему, что господа забыли о нём, он пробрается сюда и сидит тихо-тихо, словно мышонок.

Дунюшку сейчас позвали одевать графиню. Камердинер, а вслед за ним Лаврентий-парикмахер прошли на половину Ираклия Ивановича. Видимо, господа собираются уезжать куда-то.

Шум со двора привлёк Васино внимание. И, оторвавшись от невесёлых мыслей, он прильнул к круглому окошечку своего закутка.

К главному подъезду подали большую золочёную карету. Лошади цугом разукрашены, в перьях. Гайдуки в тяжёлых ливреях, скороходы, лакеи на запятках...

«Знать, во дворец собираются... Скоро уедут».



Вася тихонько, как кошка, спрыгнул с карниза, на котором держался с трудом, и осторожно высунул нос из своего убежища.

— Идут, идут, — прокатился шопот в сенях и на лестнице. Швейцар Захарыч замер, подобострастно изогнувшись; застыли, вытянувшись, лакеи. Девушка, бежавшая по лестнице, приросла внезапно к занавесу, скрывавшему нишу, где примостился Вася.

Пробежал Андрюшка-лакей: видно, двери открывал по дороге. Наконец и граф с графиней показались. Дуня с Варварой, другой верховой¹ девушкой, вслед за ними поспевают.

Так и замерло сердце у Васи. Вдруг графиня Дуню с собой увезёт! Мало ли что на балу случиться может, — кружево оборвётся или оборка зацепится.

Вышли все на крыльцо. Но вот тяжёлая дверь снова открывается, Дуня идёт обратно. Видно, графиня только Варварушку увезла.

Вася так рад, что готов на одной ноге скакать, да не очень-то поскачешь! Задача предстоит теперь нелёгкая — выбраться отсюда незаметно.

Лакеи унесли канделябры. Разошлась и вся остальная челядь. Старый Захарыч выпрямился, зевнул, перекрестился и вошёл в свою каморку.

Опустели сени.

Вася просунул голову, выставил правую ногу, потом левую и шмыгнул на лестницу; с первой площадки в коридор, потом две ступеньки вниз — и он у Дуниной горенки.

— Тётя Дуня, а тётя Дуня!

— Иди, иди, Васенька! Где же ты, пострелёнок, пропадал? Я всё боялась, не хватился бы граф тебя. Я пряников припасла да медку, что из деревни дед прислал.

— Ну, ладно, тётя Дуня, а ты запомнила, что давеча обещалась, когда господа отъедут, свести меня наверх в залы, где образа висят.

¹ Верховой прислугой назывались личные, приближенные к господам слуги.

— Картины, Вася, а не образа!

— Сведёшь?

— Да уж раз сулилась, от тебя не отвяжешься; а медку-то уж поешь?

— Да полакомлюсь, не горюй, — засмеялся Вася. — Только время терять нечего. Редко стали наши из дому выезжать. Пойдём наверх, — торопил он Дуню.

Дуня во всякое время могла подниматься в господские комнаты, и Васю, раз идёт с ней, никто из слуг не остановит.

Когда открылась дверь маленькой гостиной, Вася ахнул. Из золотой причудливой рамы улыбалась ему черно-волосая девушка, улыбалась приветливо, как давно знакомому; кажется, вот-вот кивнёт головой и скажет что-то ласковое.

Осторожно, чуть дыша, подвинулся Вася к картине. Руки девушки перебирали струны невиданного им раньше инструмента. Казалось, из-под гибких, тонких пальцев вырвутся звуки и потекут, ширясь и усиливаясь, всё прекраснее и звончее.

Дуня заторопилась:

— Идём, идём, Вася.

Но Вася ровно не слышит. Он осмелел, подошёл вплотную, тронул пальцем холст.

— Тётя Дуня, ведь как живая, а? — и с заблестевшими глазами и разгорячённым лицом неожиданно всем корпусом повернулся к девушке.

— Дунюшка, дай уголёк. Я зарисую её.

— Да ты в уме ли? Разве сумеешь?

— Дай, попытаюсь!

— С пустяками не приставай! В графской гостиной углей нет.



Тяжело вздохнув, отошёл Вася от картины и поплёлся за Дуней, всё оглядываясь назад.

* * *

Плохо спитсѣ ночью Васе. Ему всё чудится девушка из золочёной рамы; она улыбается, длинными пальцами трогает серебристые струны своей чудной музыки. Потом пальцы становятся белее, прозрачнее, она тает и пропадает, а из другого угла выходит снова розовая, смеётся ласково, весело, — но только возьмёт Вася в руки карандаш, как смех её становится злым, ехидным, точно издёвка.

— Что ты, Василий, со сна, ровно девчонка, орёшь?

Вася вскочил, продирая глаза.

— Неужто орал? Это всё та черноволосая из графининой гостиной. . .

— Что ты мелешь, Емеля? Здоров ли ты, парень?

Вася схватил руку отца, целуя её.

— Батюшка, срисовать хочу музыкантшу, что мне всю ночь снилась.

— Баловной ты, парень! Балуй, пока у отца с матерью! Недолго уж!

Вася, видя, что отец не противится ему, вскочил в одной рубахе, бросился в маленькие сени к ящику с углями, судорожно схватил кусок серой бумаги, валявшейся на столе, и стал на неё наносить торопливые штрихи.

Отец стоял посредине комнаты, повернувшись спиной к сыну, молчаливо глядя куда-то в пространство широко раскрытыми глазами.

Только и слышно было скрипение угля по грубой бумаге.

— Батюшка, батя! — закричал неожиданно пронзительным, взволнованным голосом мальчик.

Андрей Иванович вздрогнул, обернулся.

— Что ты, ровно бесноватый, кричишь? Напугал!

Тропинин подошёл ближе, нагнулся над серым листом бумаги, взял в руки его, перевёл глаза на мальчика, потом снова на бумагу.

С грубого, оборванного листа глядела на Андрея Ива-

новича девушка, та самая, что красовалась в золочёной раме наверху, в графских комнатах.

Тропинин тронул ладонью волосы мальчика.

— Успокойся, Вася.

От пережитого напряжения, от непривычной отцовской ласки всхлипнул Вася, бросившись к отцу.

Тропинин молча гладил его взлохмаченную, нечёсаную голову и что-то крепко думал своё.

Потом, как бы отгоняя привязавшуюся мысль, отстранил сына от себя:

— Ну-ка, Василий, пора на службу! Уже седьмой час!

Опомнясь, Вася побежал в сени мыться, а отец подобрал лист серой бумаги, подошёл к комоду, открыл левый ящик, вытащил оттуда несколько зарисованных листочков, присоединил к ним новый и всё вместе бережно сунул в карман.

В КАБИНЕТЕ ГРАФА

В графском доме заведён строгий порядок. Каждое утро главный управитель должен докладывать графу обо всём случившемся и выслушивать распоряжения и приказания Ираклия Ивановича. И каждое утро Андрей Тропинин, выбритый, подтянутый, ровно в 10 часов нажимает дверную ручку просторного кабинета, где хозяин в расшитом пёстрыми шелками халате ожидает его за большим столом.

Несмотря на то, что молод граф, он самолично входит во все хозяйские и домовые дела, ведёт всему точный учёт, знает всю многочисленную свою дворню, сам назначает наказания провинившимся; поблажки людям не даёт, но нельзя сказать, чтоб жесток был чрезмерно или мучил людей, как другие господа, для собственного развлечения. Преданных слуг не оскорбляет никогда, а Андрея Ивановича, вольного человека, ценит особо.

Сегодня, как всегда, ровно в 10 часов Андрей Иванович стоит у двери кабинета, но, обычно спокойный, равнодушный в ожидании графских повелений, он сейчас озабочен, даже как будто взволнован. Протянул руку к двери,

затем опустил её, потоптался на месте и, толкнув дверь кабинета, тут же остановился в нерешимости.

Граф был не один. На диване у стола в зелёном атласном камзоле с широким кружевным воротом, попыхивая из длинного чубука, сидел гость, двоюродный брат хозяина — Иван Алексеевич Морков.

— Иди, иди, Андрей Иванович, не смущайся. Иван Алексеевич не обессудит, что время пришло делами заниматься.

Тропинин подошёл ближе к столу, поклонился хозяину и гостю, развернул трубочку бумаги, которую держал в руке, и отчётливо, неторопливо начал читать.

Граф внимательно слушал, что-то занося в тетрадь, лежащую перед ним, а гость, зевая, отошёл к окну.

Прочитал Андрей Иванович свой доклад, выслушал графские приказания, пора бы, казалось, поклониться и оставить графа с гостем, а Тропинин медлит чего-то, нерешительно мнётся на месте. Видно, еще дело есть.

— Что, братец, имеешь сказать?

Андрей Иванович низко, просительно нагнулся перед графом, стараясь поймать его руку для поцелуя.

— Говори, Иваныч, смелее, в чём дело!

— С великой просьбой к вашему сиятельству!

Тропинин вытащил из бокового кармана пачку каких-то бумажек.

— Извольте взглянуть ваше сиятельство, сына моего, Васьки, малевание.

Граф недовольно, брезгливым жестом притянул к себе листок грязноватой серой бумаги, небрежно отбросил его, взял другой, третий, затем повернулся в глубину комнаты, ища глазами своего гостя и в то же время любясь собой в простеночном зеркале.

А гость, рассеянно, казалось, глядевший в окно, вернулся к столу и, нагнувшись над брошенными рисунками, стал внимательно их разглядывать.

Ираклий Иванович поднял лежащую около него узенькую пилочку, занялся тщательной отделкой своих ногтей, как будто забыв о существовании управляющего, и, наконец, снова обратился к нему.

— Чего же тебе надобно, в толк не возьму! Малюет твой Васька прескверно...

— Я думал просить ваше сиятельство, — отвечал, опустив глаза, Андрей Иванович, — отправить сына учиться художеству. Мальчишка вырастет, и из его шалости может для вашей милости толк получиться.

— Нет, как я погляжу, Иваныч, толку из этого не получится, а ежели я его к кондитеру в ученье отправлю, нашему Дормидонту в помощь, вот из этого, пожалуй, толк будет. Ведь ты знаешь, я великий охотник до сладенького... Как ты полагаешь, Тропинин?

— Как будет угодно вашему сиятельству.

Тропинин низко поклонился графу и, оставив на столе клочки бумаг, которые до сих пор так бережно хранил, поторопился к выходу.

Быстро прошёл малиновую, голубую и белую с золотом гостиную, миновал китайскую комнату и только на площадке парадной лестницы, тяжело дыша, остановился внезапно. Навстречу ему бежал кверху камердинер Пётр Сидорович, волоча за собой Васю. Огромное, распухшее, багровое ухо и заплаканные глаза говорили о короткой, но внушительной с ним расправе.

— Это что такое? — неожиданно громко для самого себя закричал Тропинин, готовый броситься на Петра.

— К графу сына твоего веду. Сходи-ка в людскую сам полюбуйся, как он стену испакостил, — злобно бросил в ответ камердинер, однако выпустил мальчика из рук.

— Виноват, батюшка, меня сапоги поставили чистить, а я загляделся на Степана кучера, как он суп из чашки хлебает, и тут же на стене намалевал. И ведь похоже вышло, — заулыбался Вася, забывая и горящее ухо, и оскорбление, и страх.

— Нечего графа пустяками беспокоить. Я сам с Васькой поговорю, — и, круто повернув, потащил Тропинин сына за собой.

— У ты, проклятый! — чувствуя своё бессилие, зашипел ему вслед Пётр.

* * *

Когда дверь захлопнулась за управляющим, Иван Алексеевич покачал головой.

— Экой ты, братец, какой непонятный! Это не мальчишка, а клад. Будь он моим, я бы из него придворного живописца сделал. Мой совет: отдай в ученье к художнику!

— Полно тебе о мальчишке беспокоиться. Тоже художник-живописец выискался! И без ученья хорош! Давай-ка лучше к графине пойдём. Она, чай, с фриштиком заждалась нас.

Иван Алексеевич захватил оставленные Тропининым рисунки и ещё раз внимательно поглядел на них.

— Фриштик так фриштик, а о мальчике еще поговорим.

КОНДИТЕРСКИЙ УЧЕНИК

Не прошло и трёх месяцев со времени неудачливых хлопот Тропинина за сына, как Вася жил уже в доме графа Завадовского в учениках у француза-кондитера.

На пирах у графа вся столичная знать едала и похваливала его печенья, и даже царица с удовольствием лакомилась слоёными крендельками мусью Фримана.

Мусью Фриман не простой кондитер — это артист, художник своего дела, глубоко убеждённый, что нет на свете прекраснее и полезнее занятия, чем приготовление сладких тортов, марципановых конфет, горячего бланманже и суфле из каштанов. В белом халате и колпаке, мешая ложкой сладкое фисташковое тесто и прибавляя к нему для запаха лимонную кожицу, он священнодействует в небольшой своей, специально кондитерской кухне.

Любит мусью, когда хвалят его пирожки и конфеты.

— Нэ-с па, карош, ошень, фкусно, кушай ишо, мальшик, — говорит довольный мусью, накладывая одно за другим блюдца яблочного мармелада и сливочного крема.

С кондитером можно жить в ладу. Гораздо хуже обстоит дело с кондитеровой толстой женой, Пелагеей Никитичной — Полин — как чудно, по-своему, называет её мусью Фриман. Сварливая, голосистая, вздорная баба,

вечно свой нос суёт в мужнины дела: за учениками зорко следит, пробует приготовленные ими кушанья.

— Не годятся Васькины миндальные крендельки, вздуть его надо, ленится работать, материал портит!

— Нишего, Полин, — успокаивает свою гневную супругу хладнокровный мусью, — сишас не карош, потом был карош, мальшик ишо глуп!

Пелагея Никитична не удовлетворяется миролюбивыми увещаниями мужа и сама поучает Васю: даст затрещину-



другую в надежде, что это благое средство поможет кондитерскому ученику стать со временем великим мастером конфетного искусства.

«Помни, Васька, что ты крепостной человек и всё терпеть должен», — говорил бывало Тропинин; и Вася хорошо помнит отцовы заветы и все обиды молча сносит.

Дом графа Завадовского ещё богаче и обширнее Морковского. За большим каменным домом тянется сад, с левой стороны к саду примыкает приземистое длинное здание — графская кухня, за ней ряд флигелей, населённых слугами. В большом дворе, между флигелями заблудился маленький дворик, весь заросший боярышником и

сиреню. Низенькая дверь ведёт из кондитерской кухни на этот дворик, сюда же глядят окошки из комнат, где живёт сын графского живописца, новый Васин друг, Гараська.

СИРЕНЕВЫЙ КУСТ

Сегодня выдался для Васи счастливый день. Пелагея Никитична ушла со двора. Пользуясь этим, разбрелись ученики. И сам мусью, посадив Васю растирать желтки, куда-то запропастился.

Трёт Вася жёлтую сладкую массу, а сам глядит в окошко на кусты сирени, на зелёные и лиловые пятна, на солнечные блики, что играют на листьях и цветах. И чудное дело! Как будто впервые видит, как разнообразны листья большого куста. Вот тёмные, почти чёрные, а там дальше, напавшие солнцем, сверкающие, совсем изумрудные.

— Васька, ты один, что ль? — белобрысая Гараськина рожица просунулась в окно и с любопытством обшарила углы кондитерской комнаты. — Чертовки твоей дома нету? И как это у тебя, Васька, терпенья хватает угольков горячих в перину ей не подложить?

— Да я на неё и глядеть не хочу, думаю всё о своём, а что она жужжит, — мне и дела нет.

— Да, правда, ну её к лешему! Знаешь-ка, что я тебе скажу? Мусью с буфетчиками кофей пьёт. Не скоро сюда заявится, а ты бы шёл ко мне. — Лукаво подмигнув товарищу, запнулся Гараська. — Отец велел, чтобы к завтраму куст сиреневый был срисован, а мне охота воробьёв пострелять. . .

Вася не стал дожидаться дальнейших Гараськиных объяснений, он понял, что от него надобно. Мигом спрыгнул с подоконника, и вот он уже в соседней комнате, где на столе приготовлены подрамник и краски. Вася крепко зажмурил глаза, быстро открыл их и глянул в окно. Вот этот куст, эти мерно покачивающиеся полные гроздья то голубовато-сиреневых, то красновато-лиловых цветов, он должен сейчас же перенести их на холст.

— Иди, иди, — гонит он Гараську, а сам забыл уж и кондитера с толстой женой, и сладкую жёлтую массу, оставленную им на столе.

Вася не мог бы сказать — минуты пролетели или часы, когда знакомый картавый голос вернул его к действительности.

— Базиль, туа живой или нэт? Куда пропаль?

Громким посвистом известил он друга о надвинувшейся опасности, но Гараська в пылу воробьиной охоты исчез куда-то надолго.

Делать нечего. Надо идти с повинной к мусью.

Выслушав искренний Васин рассказ, мусью сделал было строгое лицо, но, убедившись, что «Полин» нет дома, неодобрительно покачал головой.

— Бедный мальшик, он хотейль рисовайт, а ему не даваль, — и, оглянувшись ещё раз по сторонам, шопотом разрешил Васе идти доканчивать свой куст.

Задыхаясь, добежал Вася до Гараськиной комнаты, добежал и замер.

У стола, рассматривая его картину, стоял Николай Семёнович, Гараськин отец, рядом — Гараська с заискивающей улыбкой. Знать, дело открылось. Кончено теперь всё. Не удастся больше писать за Гараську уроки. Так грустно стало Васе, что, кажется, вот-вот — и он заревёт.

Николай Семёнович обернулся в его сторону, заметил. . .

— Пожалуй-ка, дружок, сюда. Ты, што ль, за моего оболтуса трудился? Сказывай-ка теперь, где это ты научился с красками обращаться?

Сперва смутившись, а потом всё бойчее и свободнее стал рассказывать Вася, как с малолетства срисовывал картинки, как мечтал о художестве и. . . попал в кондитерские ученики.

— Простите Гараську, Николай Семёнович, это я подбил его, я сам у него выпрашивал. . .

А Николай Семёнович уж и не сердит на Гараську.

— Эх, Василий, Василий! Будь ты моим сыном, сделал бы я из тебя человека, а мой пострел только и норовит из дому улизнуть в бабки сыграть. Не унывай, малый! Приходи, когда время будет. Учить стану, всё по-

кажу, что сам знаю. У тебя талант, великий талант, братец. . .

Полюбил Николай Семёнович кондитерского мальчика, и для Васи наступила с этого момента счастливая жизнь. Он уже совсем перестал обращать внимание на кондитершу — «Полин». Молча выслушивая указания мусью Фримана, выполняя все его требования, он терпеливо дожидается той минуты, когда можно будет убежать к соседям и наблюдать, как Николай Семёнович растирает краски, готовится их, как наносит на холст и как из отдельных штрихов и мазков возникают лица, фигуры, дома и цветы.

Большие перемены произошли в Морковском доме за годы Васиного учения у кондитера. Графская семья выехала из Петербурга в Малороссию, в Подольское поместье, пожалованное Ираклию Ивановичу царицей за заслуги в турецкой войне. Уехали и Васины родные. Много было сборов и хлопот при укладке, много слёз при расставании. Мать и тётя Дуня так и обливались слезами, причитая над Васей.

— Не на век прощаемся, — утешал их Тропинин, — кончит Вася ученье, приедет в деревню, и снова все вместе заживём.

И Вася готов был с ними поплакать, да ведь не маленький. И утешенье у него осталось: новый взрослый друг — Гараськин отец.

Уехали родные. Опустели барские хоромы. Только старый швейцар Захарыч продолжал жить в доме. Остался ещё кое-кто из дворни да кучера с садовниками.

Попрежнему Вася приходит сюда праздниками. На свободе усаживается в Дуниной горенке за холст и краски, которыми снабжает его старый художник. Он срисовывает всё, что попадётся ему на глаза: дерево, скамью, опрокинутую чашку, всякую безделицу, но пуще всего его внимание привлекают человеческие лица. Старый Захарыч, попивая чай, снисходительно разрешает писать себя, не обращая ни малейшего внимания на «мазилку»,

а «мазилка» старается ухватить всё самое примечательное, самое характерное в своём натурщике. Он знает, что Николай Семёнович поглядит внимательно на его работу, мазнёт в одном месте, тронет кистью в другом — и оживёт на холсте старый швейцар с льстивым взглядом хитрых глазок.

Уже третий год живёт Вася у мусью Фримана. Он вытянулся, возмужал, даже тёмный пушок показался над верхней губой.

Скоро наступит конец ученью. Приближается день, когда граф потребует его приезда в далёкую Подолию.

Мысль о возможной встрече с семьёй, с матерью, с тёткой Дунюшкой радует, а вместе с тем отчего-то сжимается сердце, становится тоскливо и грустно...

Подходя к Морковскому дому, в смутной тревоге ждёт Вася вестей из деревни. Одно графское слово разлучит его с добрым другом Николаем Семёновичем, оторвёт от красок и холста и посадит навсегда в домовую канцелярию, в кухню или огород.

А между тем всё больше хвалит его старый художник, всё больше дивится ему и называет «талантом». Да и сам Вася чувствует, что послушнее, чем прежде, становится карандаш, что мягче ложатся один к другому мазки красок и, как живые, глядят с портретов и набросков лица людей.

Да что толку, если вся его жизнь зависит от графского слова, если он «крепостной человек»?

Здороваясь со старым швейцаром, Вася тихо спросил: — Что пишут?

Равнодушно скользнул глазами Захарыч:

— Кому пишут, а нам ничего.

Значит, снова можно день, два, может быть, неделю прожить спокойно, обычно: покончив с поварскими обязанностями, слушать медлительные речи Николая Семёновича, смешивать краски, подыскивая новые, верные оттенки.

Разложив у окна в Дуниной комнате свои эскизы, задумал Вася писать по памяти Дунин портрет. Пытаясь вспомнить родные, милые, такие далёкие теперь черты Дуниного лица, он не заметил, как какой-то гулявший по

саду хорошо одетый барин, приблизившись, остановился у окна, внимательно разглядывая его этюды.

Неожиданный возглас — «Ну и молодец ты, братец!» — заставил его вздрогнуть и в испуге уронить кисть на пол.

В подошедшем он узнал двоюродного брата графа Ираклия Ивановича — Ивана Алексеевича Моркова, временно живущего в доме.

— Виноват, — залепетал в смущении Вася.

Иван Алексеевич добродушно похлопал его по плечу:

— Ничего, малый, не смущайся; а как тебя звать?

— Василий Тропинин, ваше сиятельство!

Иван Алексеевич внимательно стал вглядываться в Васино лицо, припоминая что-то.

— Василий Тропинин? Андрея Тропинина сын? Э, братец мой, да мы с тобой, оказывается, давно знакомы. А ты всё малюешь, неисправимый!

Краска прилила к Васиным щекам, разлилась по всему лицу, захватила лоб, уши, шею. Не понимал он, о каком знакомстве говорит Иван Алексеевич.

— А я совсем о тебе забыл, хотя сам себе слово дал за тебя постоять. Ну, слушай, малый. Пишу сегодня же письмо графу Ираклию Ивановичу. И если он откажется учить тебя, я на свой счёт определяю тебя в Академию. Видно, на роду тебе написано быть художником.

От неожиданности, растерянности не сообразил Вася, что́ ему делать: броситься ли целовать барскую руку, благодарить, смеяться или плакать; но Иван Алексеевич не стал дожидаться изъяснений Васиных чувств и быстро отошёл от окна, занятый своею мыслью.

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

С трогое и чинное здание Академии художеств горделиво застыло на набережной, как бы чванясь перед соседями своей величественностью и красотой. С противоположной стороны глядятся в Неву дворцы богатых вельмож, но здесь, на этом берегу, у Академии нет соперников. Вдоль линий расположились невзрачные мещанские домишки. За плацпарадом¹ протянулся Первый шляхетский корпус, занявший палаты Меншикова, Петрова любимца. Но где же облупившемуся пёстрому фасаду старенького дворца тягаться с величавой красотой Академии? Всё предусмотрено, всё геометрически правильно в архитектурном квадрате с вписанным в него кругом двором.

Зато как неожиданно и чудесно, обогнув светлосерую чёткую громаду, очутиться в саду! Хорошо, должно быть, здесь летом, когда колышутся зелёные ветки деревьев, когда лиловатые и белые шапочки клевера с любопытством выглядывают из травы. Но и сейчас, зимой, тоже прекрасно. Там, где летом были дорожки и мальчики,

¹ Теперь на этом месте находится Румянцевский садик с обелиском.

играя в пятнашки, убегали вглубь чащи, легла сейчас ровная, пушистая пелена; показавшееся солнце разбрызгало по ней миллиарды самоцветов.

Площадка перед зданием Академии укатана и посыпана жёлтым песком и от неё отходит между чёрными стволами деревьев жёлтая широкая дорожка.

Где-то вдалеке, в глубине здания, задребезжал колокольчик, затем прозвенел ближе, совсем близко, и пло-



щадка, молчавшая за минуту до того, загудела, зажу- жжала в ответ. Наступила большая перемена. Чёрные ленты, потянувшиеся из открытой двери, разорвались, — и рассыпались по саду кучки шинелек с золотыми нашивками и сверкающими на солнце пуговицами.

Морозный воздух взбодрил засидевшихся в душных классах воспитанников, прогнал скуку, навеянную уроками.

Гувернёры занялись частными разговорами, отвернувшись от своих питомцев, и облегчённо вздохнули десятки сердец под мундирчиками из толстого чёрного сукна. Малыши забегали, завозились.

На краю площадки, у забора, отделяющего сад от 1-й линии, остановилась небольшая группа старших воспитан-

ников; это уже взрослые молодые люди, им нет дела до распрей и драк мелюзги, их волнуют иные вопросы.

Странно выделяется среди треуголок и форменных шинелей партикулярное платье и вязаная шапочка плотного сероглазого юноши — Василия Тропинина. Тропинин не состоит в числе воспитанников Академии художеств. Он крепостной, а устав Академии гласит, что можно принимать всех мальчиков, какого бы звания они ни были, «исключая одних крепостных, не имеющих от господ своих увольнения».

Тропинин — приватный ученик советника Щукина, но пользуется правом посещать художнические классы и мастерские Академии.

Не полагалось бы, казалось, крепостному проводить с воспитанниками рекреационные часы. Ну, да что поделаешь? Учатся вместе, хочется и погулять вместе, а главное — сам президент, граф Александр Сергеевич Строганов, смотрит сквозь пальцы на это попущение. Слишком много его собственных крепостных в Академии, чтобы кто-нибудь, кто поменьше рангом, осмелился указать на нарушение правил.

И Тропинину предоставлена возможность проводить часы досуга с товарищами, вслушиваться в их споры и разногласия; сам же он, молчаливый и застенчивый, редко решается сказать своё мнение.

Сейчас один из обычных споров — гипсу или натуре должно отдать предпочтение — волнует собравшихся.

— Нет уж, братцы, что ни говори, а без антика¹ никак нельзя. Где ещё, кроме древности, можно увидеть эти строгие, правильные тела, эту непревзойдённую доселе красоту?! Наше дело — только подражать, подражать, только копировать! . . .

— Ну тебя к лешему! «Подражать, подражать»! — передразнивая говорившего, захрипел чей-то басок. — А по мне, — закончил он придушённым шепотком, оглядываясь деловито по сторонам, — только тогда художник станет настоящим художником, когда он оставит в покое

¹ А н т и к — памятник древнего искусства (например, греческие и римские скульптуры).

олимпийских богов, то бишь всех Зевсом и Аполлонов, когда перестанет обезьянничать, когда обратится к предметам окружающим, близким его сердцу.

— Эк, куда хватил!

— Замолчи, богохульник!

— Нам далеко до совершенства древних! Мы все слышали «Рассуждение» почётного любителя Академии — Михаила Никитича Муравьёва, а всё же, что бы ни говорил сей почтенный муж, далеко Лосенкову до Рафаэля, Угрюмову — до Микель Анджело; и не станешь же ты сравнивать с Рембрандтом даже Левицкого, хотя и многих «остановил щастливой кистью цвет юности и гордость преходящих лет».

— Ну что из этого? — отозвался тонкий рыжеволосый юноша Варнек. — Я присоединяюсь к Петру, — метнул он взгляд в сторону хриповатого баска, — не древним гигантам должны мы подражать, а единственно натуре. Совершенной натуры я ничего найти не надеюсь!

Тропинин стоял возле Варнека. Он не вмешивался в разговор, но, видно было, принимал в нём живейшее участие; об этом свидетельствовали и необычайно заблестевшие глаза, и лихо вскудрявившиеся из-под круглой шапочки волосы, и выражение энтузиазма, что проступило на его спокойном и ласковом лице. С жадностью ловя каждое слово интересного и оживлённого спора, он переводил глаза то с медноволосой головы Варнека на красивое лицо Ореста Кипренского, то с Ореста на энергичного защитника «натуры».

Казалось, вот-вот он переборет застенчивость, зальётся алой краской и скажет своё мнение, но вдруг громкий задорный возглас прервал спорящих:

— Эй, мазуны, покуда вы лясы точите, я дело делаю! Глядите-ка сюда, новая Венера Медичейская открыта!

Весёлой гурьбой повернули к высокой лапчатой ели, из-за веток которой выглядывала женская снеговая головка. Подошли ближе. В изогнутой кокетливой позе древней богини красовалась хорошо всем знакомая курносенькая дочка эконома, Машенька Пахомова.

— Ай да Юрка, ай да молодец! И впрямь богиня!

— А я так знаю, для кого она поистине богиня и даже единственная!

Удачливый скульптор хитро подмигнул в сторону Тропинина, лицо которого пылало, как зарево.

— Вот так Васенька! Скромник! Притворщик!

— Чем не невеста? Хорошо бы честным пирком да за свадебку...

Кипренский весело рассмеялся и вдруг осекся, как бы вспомнив что-то.

Сразу потухло лицо Тропинина.

В одном из низеньких строений, примыкавших к саду, раскрылась форточка, и любопытная головка, привлечённая смехом и шутками, выглянула в сад.

— Вот и Марья Архиповна собственной персоной.

— Пожалуйста полюбоваться на свой портрет.

— Что ты, что ты?! — зашикали благоразумные.

Машенька и не собиралась выходить в сад. Она поднесла палец к губам, показывая глазами на приближающихся гувернёров. Скульптор ударил носком ног в своё изваяние, и богини Машеньки как не бывало.

На её месте лежала бесформенная куча снега. Живая Машенька захлопнула форточку.

Одиноким и грустным казалось покинутое ею окно.

Совсем близко уже были гувернёры. За ними стройными парами шествовали воспитанники. Заливался колокольчик, и запоздавшие спорщики чинно и скромно псплелись последними парами.

В ЭРМИТАЖНОЙ ГАЛЕРЕЕ

Васе казалось, что с того момента, как из круглой шинельной он впервые ступил на порог конференц-зала, прошли долгие годы, — такую громадную ощущал он в себе перемену. Растерянный, маленький, стоял он тогда посреди великолепного зала, ошеломлённый богатством и яркостью полотен, а вот теперь эти картины, одетые пышными золочёными рамами, стали «домашними», своими, и ведь многие из них — это только копии,

написанные такими же, как он, робкими, неумелыми учениками.

Нет, академические залы не внушали ему прежнего благоговения. Всё уже известно, изучено до последней чёрточки. Жадно хотелось чего-то нового, еще невиданного.

И сейчас, сидя в библиотеке, уткнувшись в раскрытую большую книгу, Вася мысленно благодарил надзирателя Эрмитажной галереи, Лабенского, которому пришло на ум прислать в подарок Академии своё «Описание с гравировальными рисунками находящихся в оной галлерее картин». Перелистывая страницу за страницей, он улетал к давним временам, к великим, давно умершим художникам, к городам, в которых они жили, к музеям, где хранятся их произведения. «Какое это, должно быть, счастье побывать в далёких странах, ступить на почву Италии, родину Тициана, Рафаэля, Леонардо!» Он знал: Варнек получает заграничную поездку, Кипренский тоже. «А я, разве я хуже их?» И какое-то новое, никогда не испытанное, смутное, горькое чувство заползло в душу. Испуганно подумал: «Не зависть ли?»

Нет, он не завидует счастливым товарищам, он рад за них; но обида на несправедливость, что с рождения тяготеет над ним, — вот что болезненно зашевелилось в сердце.

— Тропинин, куда ты пропал? Я с ног сбился в поисках, — зашептал над ухом знакомый голос. Вася оглянулся и увидел Варнека.

— Ты что здесь делаешь? Гравюры с картин рассматриваешь? Слушай-ка, что я тебе скажу: мы их тотчас в натуре посмотрим!

Вася недоумевающе глядел на возбуждённое и весёлое лицо товарища.

— Ну да, живо собирайся! Степан Степанович нас с тобой да еще троих в Эрмитаж посылает списывать, какие нам понравятся, картины. Выбирайся-ка потихоньку отсюда.

Вася побежал за шапкой и верхним платьем в квартиру профессора Щукина, у которого жил. Когда он поравнялся с чинно поджидавшими его на набережной това-

рищами, в нём уже не осталось и следа недавнего гнетущего чувства. Столько свежести и бодрости было разлито в морозном воздухе! Нева отливала синерозовым перламутром. На Адмиралтейской стороне, едва касаясь гранитной скалы, повисло в воздухе медное изваяние Петра. Кажется, вот-вот взметнётся всадник и поскачет прямо навстречу ему по широкому мосту,¹ переброшенному через реку. Так приволен и красив был в это мгновение чудесный город, что всё грустное должно было испариться, рассеяться, исчезнуть.

На широкой площади, точно на гигантском блюде, поблёскивая золотом своих украшений, красовалось белофисташковое создание Расстрелли — Зимний дворец. Казалось, воздвигнутый единым взмахом творческой фантазии, он возник внезапно на пустой,² оголённой этой площади.

Как зачарованный глядел Вася на причудливое здание, набережную, Неву, не умея найти слов, чтобы сказать Варнеку, как чудесно шагать по морозному воздуху в розоватой петербургской мгле, что здесь, в этом городе он становится, он станет настоящим художником, он — бывший дворовый мальчишка графа Моркова. Что-то радостное, горячее разливалось в груди, наполняло её, но вдруг мелькнувшее секунду назад слово «дворовый мальчишка» всплыло в его сознании, злое, насмешливое, во всём своём грозном значении. «А кто же вы теперь, сударь Василий Андреевич, будущий известный художник?!»

Ведь ничего не изменилось в его судьбе оттого, что он оказал блестящие успехи в художестве, что он глубже чувствует прекрасное в природе и искусстве, что образованностью он ничем не отличается от любого графского сына. «Такой же холоп, как и был», барская вещь, которой в любую минуту хозяин может распорядиться по своему усмотрению, не спросив его, Васиного, желания. Вася зажмурился, замотал головой. Что-то забурлило, заклокотало в горле, вырвалось нечленораздельным звуком.

¹ В начале XIX века мост с Адмиралтейской стороны на Васильевский остров находился против памятника Петра.

² Тогда не было садика возле дворца.

— Ты что мычишь, Тропинин? — Варнек удивлённо повернул голову в васину сторону. — Что с тобой, братец ты мой? Какая муха тебя укусила?

Всегда спокойное, приветливое лицо Тропинина исказилось в странной и злобной гримасе. Это было настолько удивительно, что Варнек подошёл ближе, тронул товарища за рукав. И Тропинин, робкий, застенчивый, неожиданно для самого себя, заговорил громко, смело, увлекаясь всё больше и всё повышая голос. Он говорил о своей участи, об участи дворового человека, не имеющего своей воли, живой вещи в руках господина.

Варнек изумлённо глядел на него. Робкий ученик Степана Семёновича, правда, способный, даровитый, но такой скромный, всегда остающийся в тени, вырос внезапно в его глазах. Перед ним был новый человек, способный глубоко и тонко чувствовать.

Тропинин, как бы пользуясь моментом нахлынувшей на него смелости, торопился высказать наблюдательному, умному Саше Варнеку то, что всё явственнее и мучительнее отравляет его душу.

«Да, ведь он «человек» графа Моркова», — пронеслось в голове Варнека. И горячее желание ободрить, утешить товарища овладело им.

— Не унывай, Тропинин! Люди с твоим талантом не погибают. Да, братец мой, это отмеченные люди!

Для большей убедительности Варнек взял его под руку.

— Вот я получаю заграничную поездку. Диковинно было б от неё отказаться! Я увижу произведения великих мастеров. Но они не дадут, не могут дать мне больше, чем даёт натура. Величественнее, прекраснее её ничего не найдёшь. А натуру наблюдать можно повсюду — нет надобности ездить для этого в чужие края. И, наконец, слушай...

Неожиданная мысль, пришедшая в голову, прервала поток его слов.

— Не всё же ты будешь крепостным! Барин твой... граф освободит тебя.

Вася грустно покачал головой.

— Так вот гляди же, скольких освобождает Строга-

нов! И не только Строганов. Давеча мне канцелярист показывал заявление графа Румянцева, что он отпускает на волю своего «человека» «из уважения к его успехам в живописном художестве». Вот получишь на выставке медаль, в вознаграждение подарят тебе отпускную. Так-то, Васенька, друг, не падай духом, перемелется! — помянешь меня.

Варнек замолчал, и ничего не ответил Тропинин.



Так молча дошли до тяжёлой двери придворной конторы, где дают пропуска в Эрмитажную галерею.

Шагая по каменному гулкому коридору, Вася отстал немного от товарищей, охваченный мыслью о предстоящей выставке, о медали, о своём начатом холсте.

— Тропинин, — звонким шопотом окликнул его Кипренский, и Вася заторопился на его зов.

Наконец сданы академические удостоверения, проделаны все формальности, получены пропуска, и каждому предоставлено право избрать любое произведение по своему вкусу и списывать с него. Теперь можно обойти галерею, осмотреть её и наметить ту картину, над которой он будет работать.

Усмехаясь, глядит на него из рамы странная красавица Леонардо да Винчи, и не может оторвать Вася глаз от её загадочной улыбки, от покойно положенных одна на другую рук, от всего облика такой знакомой почему-то ему женщины.

Но надо двигаться, поглядеть и другие картины. Вот перед ним прекрасная фламандка — жена Рубенса. Полнотелая красавица в роскошном платье, лукаво, как хищный зверёк, выглядывает из-под полей своей бархатной шляпы. Эта нарядная дама не знала в жизни ни горя, ни сомнений... Вася проходит мимо.

Одна за другой мелькают картины, изумительные по мастерству, яркие, незабываемые, но ни на одной из них не может Вася остановить свой выбор, решает повернуть уже назад к Леонардо, как вдруг две руки, старческие, судорожно сжимающие одна другую, покрытые морщинами, неудержимо привлекают его к себе. Эти старческие руки говорят о долгой и скорбной жизни. С усилием отрывая глаза от рук, он видит — из тёмных лохмотьев выступает на свет измождённое лицо старика еврея. На бледном до странности лице лихорадочно горят глаза.

Из этого зала он никуда не уйдёт. Выбор сделан.

Долго еще стоит он перед картиной, всматриваясь в портрет голландского еврея, поглощённый одной мыслью — перенести на холст эти мелкие морщинки, высохшие руки, так поразившие его в первое мгновение. Кажется, не в силах он оторваться от картины, а между тем уже смеркалось, неразличимы стали детали.

— Живее, судари, — раздался чей-то голос позади Тропинина. — Если замешкаемся и в натурный класс опоздаем, будет нам ужо от Степана Семёновича!

Торопились домой.

Вася отстал от товарищей. Те оживлённо и шумно беседовали, делясь своими впечатлениями, а он не хотел, не мог принять участия в общем разговоре, казалось, всё еще созерцал рембрандтовского старика.

Да, передать на холсте внутренний мир человека, страдания его и радости — вот величайшая задача художника; вот к чему надо стремиться в искусстве. «Передать на-

туру», — советует Варнек; да, да, конечно, но так, чтоб эта «натура» продолжала жить на картине, чтоб изображённые на ней люди заражали зрителя своими слезами, своим смехом. . .

Вася не додумал до конца своей мысли, как сердце застучало чётко, раздельно и, будто вдруг оторвавшись, полетело в пропасть. . .

За углом, прижавшись к стене Академии, притаилась закутанная в шаль женская фигурка. Вася узнал её — это была Машенька Пахомова. Из-под надвинувшегося на лоб платочка тёмные глаза выглядывали кого-то вдоль набережной.

«Кого-то она поджидает?» — мелькнул тревожный вопрос в голове.

Всё ближе к Академии Вася, вот-вот поравняется с Машенькой, но Машенька вздрогнула, оторвалась от стены и повернула бегом в темноту, в глубину линии.

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ

Однообразные и радостные бегут дни за днями, полные захватывающей, интересной работы.

Вася то пропадает в Эрмитаже, копируя Рембрандта, то забывая про сон и еду, пишет для выставки ученика Винокурова.

В мастерской, в углу, стоят свёрнутые в трубочку законченные холсты. Здесь и старый еврей с морщинистыми руками, и гордая голова польского короля Яна Собеского, и выступающая из темноты, сверкающая, излучающая свет греческая богиня, мудрая Паллада — все копии Рембрандта, а на мольберте — «Мальчик с птичкой». В серых глазах маленького Винокурова — печаль и жалость к холодному тельцу, которое он тщетно пытается согреть своими пухлыми ребячьими руками. . .

Всё меньше остаётся времени до открытия выставки, а еще не закончен костюм мальчика, не доделаны кое-какие детали, — а дни бегут, торопятся куда-то, догоняют друг друга, и, кажется Васе, не угнаться ему за ними, не

закончить портрета, и он пишет всё больше, всё напряжённее.

Но, наконец, ученические работы сданы и, размещённые в выставочных залах, ждут в тишине приговоров и наград.

Только теперь, накануне решительного дня, Вася почувствовал, как велико было напряжение, в котором держала его работа. Он вышел на набережную и остановился поглядеть на Неву. Какая-то невыразимо приятная усталость разливалась по телу. Завтра официальное открытие выставки, торжественное собрание, быть может, решительный в его жизни день, но сейчас не хочется ни думать, ни мечтать...

В розовой мгле сентябрьских сумерек, кажется Васе, весь город, насыщенный влагой, медленно опускается на дно гигантского моря. Вместе с городом тонет и Академия с её статуями и холстами, тонет и он, Вася.

— Тропинин! — внезапно вырос перед ним Варнек. Рыжие волосы, колеблемые воздухом, как огненные перья, развевались вокруг худого и бледного, в этот момент до крайности возбуждённого лица. — Поздравляю! Я рад за тебя от души!

— Что случилось? Отчего рад?

И в голове промелькнуло: утром на выставку ждали императрицу. Как крепостной, как недопущенный в ученики Академии, он не мог быть на приёме, но Варнек был...

Кровь отхлынула от сердца и горячо прилила к щекам.

— Говори!

Варнек продолжал задыхаясь:

— Императрица лорнировала зал и остановилась на твоём холсте... Потом подошла ближе... Наш президент отрекомендовал тебя, случись тут же и Степан Семёнович. Императрица сказала ему что-то, он откланялся, ходуном заходил, как кукла заводная, а отвернулся — и лицо, неизвестно почему, кислое, недовольное.

Вася слушал, затаив дыхание.

— Сказывают, кто ближе стоял, что президент после отъезда гостей всё говорил о тебе: «Надо будет похлопо-

тать за молодого человека, подействовать на упрямца Моркова, чтобы отпустил на волю Тропинина».

Широко раскрытыми глазами глядел Вася на Варнека, как бы не видя его.

— Саша, друг! — впервые так назвал Тропинин товарища, хотел что-то сказать, схватил Варнека за руку, сжал её крепко и, не говоря ни слова, почти бегом бросился в Академию.

Следом за ним побежал и Варнек, зорко оглядываясь по сторонам. Кажется, никто не видит его в этот поздний час, никто не поставит на вид такое вопиющее нарушение дисциплины.

* * *

Залы Академии кажутся Васе сейчас новыми, незнакомыми.

Шитые золотом, чёрные парадные мундиры; нарядные камзолы; малиновые, синие, зелёные военные формы всех видов и рангов, султаны, плюмажи. . . Всё это блеснит, горит и пестрит среди белых статуй, всё это соперничает яркостью красок с украшающими стены картинами.

Вот проплыл весь увешанный орденами, круглый, точно вызолоченный шар на коротеньких ножках, какой-то обрюзглый вельможа, вслед за ним угодливым выюном поспевает маленький чиновник в темнозелёном, с золотыми пуговицами, фраке.

У высокого цоколя, на котором покоится греческая богиня, остановился какой-то очень важный монах. С лицемерной подобострастностью слушают его несколько мундиров, а он, весь чёрный, в чёрном одеянии, в высоком клобуке, с глазами и бородой цвета угля, касаясь белых мраморных ног богини, кажется ещё чернее, ещё мрачнее.

Но вот медленно раскрывается тяжёлая дверь конференц-зала, и один за другим следуют туда господа министры — академики, чиновники, военные, профессора. Вот и президент, вице-президент, ректор, — все в парадных формах, камзолах и коротких панталонах, в чулках, при шпагах.

Граф Александр Сергеевич, как гостеприимный хозяин, приветствует новоприбывших.

Большой конференц-зал, кажется, не вместит всех

посетителей, Вася глядит, как выплывает на кафедру конференц-секретарь, статский советник и кавалер, Александр Федорович Лабзин, как останавливается, оглядывает присутствующих, а через минуту льётся уже заученная речь:

— Долг мой, долг, приятный мыслям и сладкий сердцу, велит мне быть органом сего собрания, по цели своей достопочтенного, по членам, составляющим его, знаменательного. . .

Слушает Вася витиеватую, напыщенную речь конференц-секретаря, но внимание его привлекает другое. Сколько кругом разнообразных лиц, молодых и старых! Вот толстый, важный старик в сбившемся на сторону парике, опустив веки, тихонько посапывает; рядом с ним холёный кавалергард сосредоточенно рассматривает перстень на своём указательном пальце.

Вася глядит кругом, и кажется ему, что он пишет громадную картину, на которой запечатлены заплывшие жиром бары и беспечные щёголи, напыщенные господа и выюны-чиновники, пристроившиеся к тёплому местечку.

А Лабзин продолжает с кафедры:

— Россия обывла зреть себя и зрима быть наверху славы и торжества. . .

Но вот окончена речь. Министры, важные чиновники, академики, почётные любители, профессора и преподаватели удалились на совещание.

Вася знает: все участники собрания получают билеты — «литеры» и подадут их за достойнейших. . . Количество полученных билетиков решится судьба учеников.

Бледные и взволнованные, в ожидании приговоров бродят по залам воспитанники.

Тихо за широкой массивной дверью. Минуты тянутся долгие, томительные. Вася свернул в закругляющийся коридор.

Где-то там, в глубине коридора мелькнуло рядом с широкоскулым, добродушным лицом эконома Пахомова розовое личико Машеньки.

Когда в последний раз он, по приглашению Архипа Ивановича, проводил у них праздник, не выдержала душа, сказал ей то, чего бы, пожалуй, говорить не следо-

вало, — о любви своей: о тяжести, что на сердце лежит.

А она с ангельской добротой пожалела и всё утешала: всё образуется, — мол, не печальтесь. Думает ли она о нём теперь? Волнуется ли?

Но вот заколебалась дверь. Медленно подались назад обе половинки, и молчаливая толпа хлынула в конференц-зал. Лабзин держит в руках ящики с литерами, распечатывает их, а президент объявляет имена удостоившихся. — Варнек, Кипренский.

Долетают до Васиного слуха имена товарищей. Как в тумане, видит он, как Варнек низко кланяется министру и получает от него медаль.

— Тропинин, — явственно проносится по залу. Тяжело ступая, Вася делает несколько шагов и останавливается.

И он удостоен медали. Но ему незачем подходить ближе: медали крепостным не даются, и он имеет право только на одобрение.

Президент вызывает новых воспитанников, те подходят, кланяются, а Вася, сжимая руки, в которых нет ничего, счастливый и бледный отходит назад.

ПРОФЕССОР ЩУКИН

Весь день профессор Щукин был в отвратительном настроении духа.

Проснувшись, он долго разглядывал себя в зеркале, и зеркало с хладнокровной откровенностью подтвердило: «да, брат, стареешь»...

Под глазами наметились морщины, в поредевшей шевелюре показалось серебро. «Сдаю, мальчишки обгоняют».

Он вспомнил работы своих учеников, вчерашнее торжество. «И рука уж не та, и глаз теряет прежнюю свою меткость».

Уроки в Академии шли тускло, вяло. Вернувшись домой в свой просторный кабинет, выходящий всеми тремя окнами на Неву, Степан Семёнович не почувствовал обычного успокоения. Покончив со службой, облачившись в широкий, мягкий халат, он мог бы приняться за работу

«для себя», но большой письменный стол красного дерева на стройных точёных ножках, заваленный рисунками, эстампами, всевозможными штудиями, не манил его сегодня к себе.

Две зажжённые свечи под зелёным колпаком ровно и уютно освещали краешек стола, заботливой рукой очищенный от книг и лишних листов; небольшое креслице, крытое оливковым сафьяном, казалось, было приставлено к столу точно на то расстояние, которое было удобно для Степана Семёновича; но вместо того, чтобы усесться за стол, он развалисто и лениво подошёл к окну и приподнял зелёную бахромчатую портьеру. Мелкий дождь моросил безнадёжно. Низко нависло свинцовое небо. Нева, сжатая гранитными берегами, как птица железными прутьями клетки, волнуется, бесится; вздымая белые гребешки, на скакивают волны одна на другую. Глядя на сердитую реку, остановился в задумчивости Степан Семёнович. Робкий стук заставил его вздрогнуть.

— Кто там? Войдите!

В дверях показалось широкое щетинистое лицо эконома Архипа Ивановича Пахомова. Щукин с удивлением глядел на неожиданного посетителя.

— Степан Семёнович! Простите великодушно. К вашей милости прибегаю.

— Что надо?

— Будьте за отца родного, Степан Семёнович, не обессудьте старика, что осмеливаюсь вас беспокоить...

— В чём дело?

— Пришёл просить вашей милости за вашего ученика, за молодого человека Тропинина.

Щукин поднял брови вопросительно.

— Чудится мне, что дочка моя, Марья Архиповна... что сей молодой человек любезен сердцу моей Машеньки... Как же отцу не заботиться о счастье единственной дочери? А ведь Тропинин — человек графа Моркова... Уж очень душа моя лежит к молодому художнику. Скромен, что красная девица, не шелапут. И Машеньке за ним, как за каменной стеной. Мне бы, старику, умирать было покойно, если бы дело сладить!

Щукин нетерпеливо мямл бахрому портьеры.

— Что ж, в сваты, Архип Иванович, выбираешь меня, что ли?

Старик в смущении заторопился.

— Намедни слышал я, что их сиятельство сказывали, что хлопочут за молодого человека; дескать, талантлив очень, многообещающий. . . Ведь ваш ученик, Степан Семёнович! Вы ему, что отец духовный. . . Напомнить бы хорошо президенту, чтобы не забыли, дел у них много, дел государственных. . .

Щукин махнул рукой:

— Ладно, обещаю! Что могу, — сделаю.

— Покорно благодарю, ваша милость.

Старик закланялся уходя.

Захлопнулась дверь. Щукин большими шагами прошёлся по комнате.

«Талантливый мальчишка, нет слов». Закрыв глаза, он вспомнил выставочную работу Тропинина. Удивительная чёткость рисунка, сочность мазка, наблюдательность. . .

Разговор с экономом подействовал раздражающе. Щукин ещё раз прошёлся по комнате, подошёл к столу. Нет, положительно он сегодня заниматься не будет.

Быстро одевшись, Степан Семёнович вышел на набережную. Ветер рвал платье. Дождь то затихал на мгновение, то с новой силой начинал барабанить по стёклам и фонарям. Степан Семёнович уже пожалел, что вышел без необходимости в такую непогоду. Подумал было вернуться, остановился, оглянулся по сторонам и увидел выскользнувшего из дверей Академии небольшого человечка, мелкими шажками побежавшего вперёд по набережной. Щукин узнал профессора Алексея Егоровича. «Куда это его несёт нелёгкая?» — подумал он со злостью. Дождь, как бы из сочувствия раздражённому Степану Семёновичу, с особым усердием забарабанил по широким полям чёрной шляпы Егорова, — шляпа намокла, поля обвисли, образуя сзади желобок, по которому на спину резво сбегал ручеек. Вид был комичный, и Щукин остановился с усмешкой, поджидая своего сослуживца.

— Куда это вы, Алексей Егорович, торопитесь?

— Туда же, куда и вы, Степан Семёнович: к нашему президенту, графу Александру Сергеевичу.

Щукин молчал удивлённо.

— Граф пригласил меня к себе. Между прочим, вероятно, речь зайдёт и о вашем ученике.

Щукин замедлил шаги, чувствуя, как гневный комок подступает к горлу. Об его ученике разговаривать будут и даже не считают нужным его пригласить, посоветоваться. «Хорошо-с!»

— Талантливый юноша оказался, да вот, бедняга, крепостной.

Щукин уже понимал, о ком идёт речь.

— Добрая душа наш граф Александр Сергеевич! Принял в молодом человеке живейшее участие. Вчера неоднократно повторял: «Жаль, что Тропинин принадлежит такому упрямцу, как Морков». Но ведь и на упрямую скотину, — прибавил он, нагибаясь к Щукину, — может быть управа. Ведь сама императрица Елизавета Алексеевна обратила внимание на юношу. Так-то, Степан Семёнович, — закончил он добродушно, — учи их, а они возьмут да хлеб и отобьют.

Щукин вдруг круто остановился.

— Знаете, надо ослами быть, чтоб в этакую погоду по графскому зову бежать киселя хлебать!

— Лошадей бы приказали, Степан Семёнович. За чем же дело стало? А по мне погодка недурна!

— Нет-с, слуга покорный. Я поворачиваю домой!

Пожав плечами, поглядел Егоров вслед быстро удалявшейся фигуре Щукина.

«Белены, верно, объелся», — подумал он, спокойно продолжая путь.

Промокший до нитки, Степан Семёнович вернулся в свою квартиру в ещё большем раздражении, чем выходил из дома. «Вот подлая душа, этот Егоров! Наверное, знал, что я не зван к президенту, издевается! Хорошо же, — бросил он кому-то мысленную угрозу. — Без меня о моих учениках толковать! Поглядим-с! Придётся всё же считаться со Степаном Семёновичем».

Переодевшись во всё сухое, он быстро прошёл в кабинет, бросился к столу, открыл один ящик, другой. Отыскал маленькую шкатулку, порылся в ней и, найдя длинную, узкую бумажку, на которой стояло: «Каменец-Подольской

губернии, Могилёвского на Днестре уезда. Д. Шалфиевка», положил её перед собой на письменный стол.

Как будто боясь, что он упустит момент и не сделает задуманного, Степан Семёнович торопливо очинил перо, так же поспешно достал из бювара листочек бумаги, и замелькали бисерные строчки:

«Милостивый государь, граф Ираклий Иванович! Почитаю священнейшим своим долгом донести вашему сиятельству, что. . .»

Щукин остановился, прочитал написанное, остался чем-то недоволен, перечеркнул, разорвал листок и снова начал:

«Сиятельнейший граф.

Милостивый государь!

В изъявление моего к особе Вашего сиятельства высокопочитания считаю священнейшим своим долгом донести Вам, что принадлежащий Вам дворовый человек Василий Тропинин, обучающийся художеству под моим руководством, оказал в оном искусстве отменные успехи. Выставленная им работа признана достойной золотой медали и обратила на себя милостивое внимание весьма высоких особ. Сие обстоятельство вызвало толки о желательности выкупить из крепостной зависимости молодого художника, дабы дать ему возможность развернуть пышно и широко Богом данный талант.

Желая единственно, чтобы Ваше сиятельство приняло милостивое удостоверение моей нелицемерной преданности, почитаю своей обязанностью присовокупить, что особы, обратившие своё внимание на Вашего человека, суть не токмо высокие, но высочайшие! В рассуждение сего полагаю, что ежели бы сии особы к Вам обратились с просьбой об отпуске на волю Вашего человека, оная просьба была бы равна приказанию, а посему, милостивый государь мой, беру на себя смелость посоветовать Вам, поелику Вы не пожелаете лишиться Вашего крепостного человека, прекратить его учение в академии, призвать немедленно к себе. Промедление может повлечь для Вашего сиятельства нежелательные последствия.

Донеся о том Вашему сиятельству, имею счастье пребыть с глубочайшим высокопочитанием к особе Вашего сиятельства, всепокорнейший слуга.

С. Щукин».

Глубоко вздохнув, как бы почувствовав мгновенное облегчение от мучительного состояния, давившего его весь день, поднялся Степан Семёнович со своего кресла, сделал в раздумье несколько шагов по комнате, обернулся, поглядел на стол: под зелёным колпаком на яркой белизне бумаги блестели чёрные строчки. Судорога на мгновение перекосила лицо Щукина. Он быстро вернулся к столу, протянул сжатую руку как бы с намерением схватить и скомкать бумагу, но остановился. . .

Пальцы сами собой расправились. Щукин быстро нагнулся к столу и, отыскав конверт, запечатал письмо.

ТРОИНИН УЕЗЖАЕТ

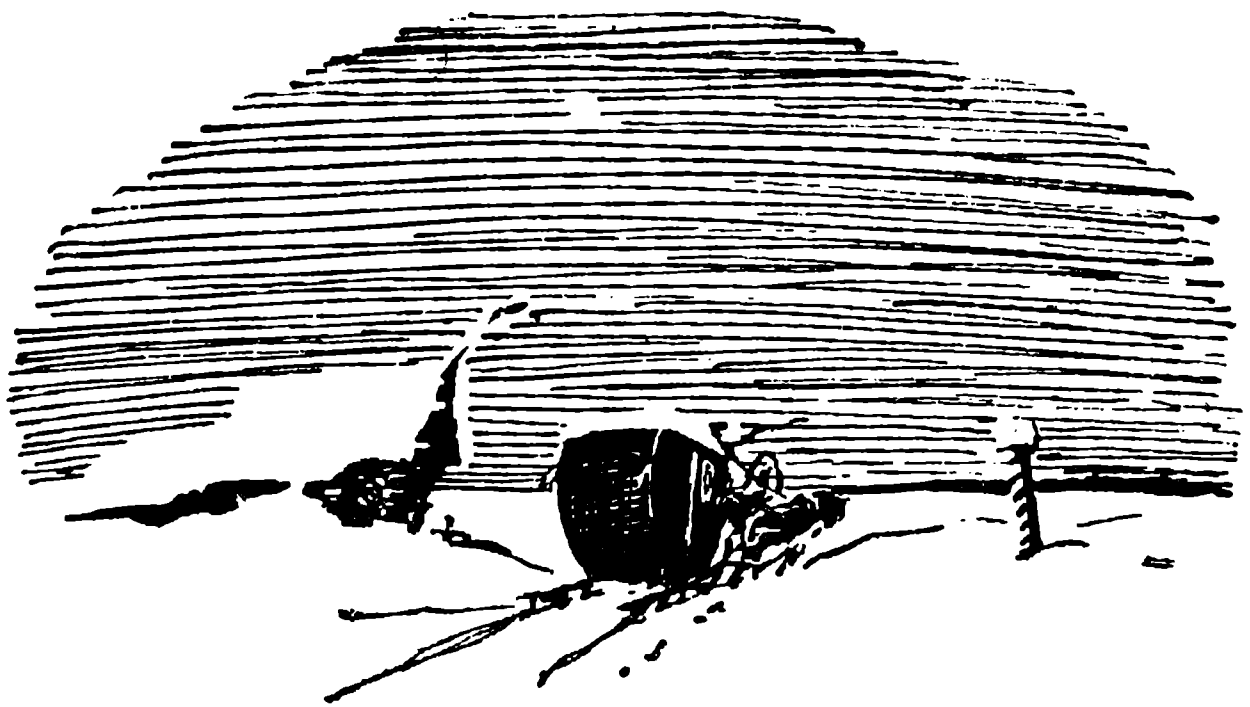
Куда ни оглянешься, назад ли, вперёд, вправо или влево, — повсюду лежит снеговая пелена. Мелькнёт изредка чёрный силуэт дерева, случайно выросшего у дороги, или высокая кровля бревенчатой избы, и снова на многие вёрсты лишь один снеговой покров.

Резво бегут лошади, торопятся увезти Васю прочь от Санкт-Петербурга, в неизвестную белую даль.

Размеренно падают рыхлые хлопья снега. Сугробы, вставшие по берегам дороги, пухнут, растут. Кажется Васе, что поднимется высокая снеговая стена, наклонится над возком и, рассыпавшись, задавит его.

Неправду пишут в книгах о том, что люди умирают от горя. Теперь он знал, — в жизни этого не бывает: ведь он жив до сих пор!

Помнит, как Щукин позвал его к себе и подал молча запечатанный пакет. Вася читал свою судьбу. Коротко приказывал граф, бросив учение, вернуться в деревню. Как-то странно глядел на него Степан Семёнович. Безмерную жалость, казалось, испытывал он к ученику. Про-



щаяся, горячо благодарил Вася за указания, которые он будет помнить всю жизнь. Степан Семёнович жал ему руку и молчал.

Варнек всхлипывал, как ребёнок, и молил простить, что несбыточными мечтаниями обманул его.

Накануне отъезда, запыхавшись, прибежал старый Пахомов, обнял дрожащими руками и уколол щетиной небритого лица. Наутро выглянула из открытой форточки заплаканная Машенька и долго кивала ему вслед.

Кажется, что Академия, Петербург и Машенька — всё это было только во сне.

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

В ПОДОЛИИ

Уроженец Новгородской губернии, Василий Тропинин попал еще в детстве в Санкт-Петербург; тут началась и протекла его ранняя юность. Ему никогда до сих пор не приходилось бывать на юге, и то, что он увидал на Украине, поразило его; лиственные леса, дубовые и буковые рощи, белые хаты, утонувшие в зелени садов, — всё ему чрезвычайно понравилось, когда он по вызову графа приехал в Подолию.

В деревне чувствовалось приближение вечера. Стало прохладнее. Засуетились куры. Залопотали о чём-то гуси и утки. С порывом ветра донеслись звуки песни. То дивчата и парубки возвращались с поля. Расторопная молодлица Одарка, раньше всех управившаяся с панщиной, ловкая и стройная, в тёмной плахте, обхватившей бёдра, шла уже с ведрами от крыницы¹ домой.

Нагнув старую голову, вылез высокий дед из своей хаты. Приставив сухую ладонь к белым, щетиной торчащим бровям, поглядел в сторону леса и уселся на завалянке у хаты.

¹ К р ы н и ц я — колодец.

Хата у деда чистая, недавно выбеленная, поместилась на самом краю села, на пригорке. Отсюда видна вся деревня и церковь с тремя зелёными куполами; сейчас же за хатой начинается лес.

Солнце докатилось уже до верхушек деревьев, и дед поднялся, нетерпеливо поглядел на лесную дорожку и снова уселся на прежнее место, между кустами цветущей мальвы.

— Бувайте здоровы, дидуню! — раздалось над самым его ухом.

— Здоров був, чоловіче! — не оглядываясь, ответил дед.

— Який же вы, диду, гордий, — гостей не хочете приймати!

На этот раз дед обернулся и увидел темноволосого молодого человека в городском платье.

— А, Прокип, ти? Заходь, заходь.

Прокоп остановился и отрывисто спросил:

— Горилка е?

— Иди до шинкаря и спитай... хіба ж у мене шинок?¹

— Не обращайтесь,² диду. Хочу лихо своё залить. Пече у середине всё. Душить. Миста собі не найду.

Дед смягчился.

— Для добрых людей и у мене е горилка. Только горилку так не слид пити, як ти пьешь, пьешь и слёзами обливаешь. Треба пити и приговаривати: «Чарка моя, чупурушечка, я тебе випью, моя душко, я тебе випью, та не вилью. Я з тобою, чарочка, погуляю, як билая рибочка по Дунаю» — от як треба пити!

И внезапно повеселевший, поднялся дед с завалинки белый, высокий и прямой, как бы готовый тотчас же пуститься в пляс с воображаемой чаркой.

Прокоп махнул рукой.

— Эй, диду, не знаете ви мого горя. Не знаете лютой моей злобы на пана...

— Що про пана говорить. Всих их в мешок, та в воду, — убеждённо сказал дед.

¹ Ш и н о к — трактир.

² Не обижайтесь.

— Добре вам, диду Нечипоре, що жили ви всегда на селе, не вчилися, не знаете, що е друге життя. . .

— Молодой ти ще дуже, хлопче! Хочь и учёний, а дурень. И тут е люди, що не знают иншого життя, а от таке всим сердцем ненавидять. А е и други. . . Ось, бачь, иде до мене еще один гость. Твоего ж пана крепостной, не из наших, з москалив. В Петербурзи на маляра учився, а зараз хто его зна, що з его вийшло: не то бухветчик, не то паньский прислужник. Тихий хлопец! Николи и слова поганого не почувешь вид його!

Прокоп узнал в подошедшем Василия Тропинина, поздоровался с ним.

— Це я бачу, що ви и знакомы. Побалакайте трохи, а я пийду до хати, бо дило е.

Тропинин до сих пор не сталкивался близко с Прокофием Данилевским. Знал только, что судьбы их схожи, что Данилевский учился в университете, кончил его с отличием, надеялся на волю. . . и остался крепостным лекарем графской семьи. Данилевский дичился дворни, избегал разговоров и постоянными отлучками вводил нередко графа в гнев.

Очутившись с глазу на глаз с ним, Тропинин молча глядел в затаившие злобную тоску тёмные глаза и чувствовал, как этот человек, за минуту до того совершенно чужой, становится близким, родным, как брат.

Спросил его тихо, как будто стесняясь:

— Зачем вы избегаете людей, которые понимают вас, которые могут сочувствовать вам?

— Что мне сказать вам, Тропинин? Что мне сказать вам, когда день и ночь гложет меня одна мысль, что один росчерк пера графа — и был бы я в Москве. . . Ведь никто в университете и мысли не допускал, что я останусь крепостным. За меня хлопотал университет. Ректор самолично писал графу. Он показывал мне это письмо. Почтенный старец просил за меня, унижался перед скотом, обещал какой угодно выкуп, только бы дали мне вольную. . .

Тропинин сидел с низко опущенной головой. Данилевский вскочил с места, быстрыми шагами прошёлся по дорожке и неожиданно остановился.

— Знаешь, — продолжал он срывающимся голосом, переходя неожиданно на «ты». — Знаешь, что он ответил: «Я не для того учил своего человека, чтобы отпускать его на волю. Мне самому нужен лекарь, чтобы лечить меня и моих людей».

УСТИН

— Де ж, хлопцы, вы дида моего сховали?

Высокий человек в гранатовом казакине и широких, болтавшихся, точно юбка, штанах, появился из лесу и остановился у дедовой хаты.

— Голубе мий, Устине! Иди, сину, иди. Ждав тебе не дождався.

Из распахнувшейся двери, быстрый и лёгкий, устремился дед навстречу новому гостю, приглашая всех в хату.

Стены хаты были чисто выбелены. Доливка ¹ вымазана серой глиной, стол покрыт чистыми рушниками, а на нём баранина в глиняной миске, зелёный лук и галушки.

Дед готовился к приёму гостей.

— Ну, хлопцы, сидайте, а мы з Устином трохи поговоримо.

Взволнованный воспоминаниями, Данилевский молча сел за стол, закрыв лицо руками. Дед с Устином отошли в угол под образа. До слуха Тропинина долетали обрывки не совсем понятных речей, но он и не пытался проникать в смысл их. Он не мог оторвать глаз от незнакомца. Необычайно красив был этот рослый человек. Из-под чуть нахмуренных бровей сияли яркоголубые глаза. Где-то в глубине их притаилась грусть. Шелковистые волосы были нежны и мягки, как у ребёнка, но сдвинутые брови, резко очерченный нос и подбородок говорили об отваге, решимости, пожалуй даже жестокости. Он рассказывал деду что-то занятное, и художник с жадностью ловил все оттенки его подвижного лица, как вдруг взгляд его упал

¹ Пол.

на руки Устина. Что-то заблестело у него в ладонях. Тропинин с удивлением заметил, как одна золотая монета, за ней другая, третья перекатились в пальцы деда.

— Чего, хлопче, ты на меня уставился? — круто повернулся к нему незнакомец.

— Та вин намалювати тебе хоче, — угадал дед.

— Оце добре! — обрадовался гость. — Зроби малюнок и пошли мому другу, старому пану Волянському из Карачинец, що убить мене, як скаженного¹ пса обещався.

Тропинин поглядел на деда, на Данилевского, как бы ища у них объяснения странных слов Устина, но по их лицам ничего нельзя было прочесть.

Тем временем на столе появилась и склянка с горилкою и мёд в кувшине. Дед оживился. Теперь говорил он, всё больше обращаясь к Устину.

— Лишний день прибавили на паньщину. . . Забрили в солдаты Грицька, сына вдовы Олеси. . . мається одинокая старая Акилина. . .

Сдвинув тёмные свои брови, Устин напряжённо слушал. Казалось, вот-вот выругается он крепким словом, хлопнет кулаком по столу и выскочит из хаты прямо на расправу с паном. Но он неожиданно заговорил медленно, тихо, как будто утомлённо. . .

— Де ни пиду, де ни поиду, скризь бачу вбогих людей, бидакив работающих. . .² Ты що ж ничего не кажешь, Прокопе?

Устин положил руку на плечо Данилевского, но тот молчал; молчал и дед.

Тихонько встал дед, подошёл к скрыне,³ нагнулся, вытащил бандуру и так же тихо вернулся на своё место.

Медлительные и нежные раздались звуки бандуры.

Поднявшийся было Устин снова опустился на лавку.

Ой идуть дни за днями, часи за часами,
А я щастя не зазнаю. Горе мени з вами!
Нещастливый уродився, нещастливый сгину.
Меня мати породила в нещасну годину.

¹ Бешеного.

² Куда ни пойду, куда ни поеду, — везде вижу бедных людей, бедняков работающих.

³ С к р ы н я — сундук.



Портрет украинца. Написан В. А. Тропининым около 1810 года.

И сдается молодому — ничего журиться.
А придется молодому з туги утопиться.
Болить моя головонька, оченьками мружу,
Сам не знаю, не видаю, зачим же я тужу!

— Давай, диду, — и Устин взял из рук деда бандуру.
И полились слова песни под аккомпанемент бандуры.

Песня Устина

Вбоги люди, вбоги люди,
Скризь вас люди бачу.
Як згадаю вашу муку,
Сам не раз заплачу.
Кажуть люди, що щасливый.
Я з того смиюся!
Куди пиду, подивлюся! —
Скризь богач пануе —
У роскошах превеликих
И днюе и ноче.
Убогому нещасному тяжкая работа...
А ще гиршая неправда — тяжкая скорбота.

Устин замолчал. В хате стало совсем темно. Неожиданно быстро поднялся он с лавки и, бросив на ходу прощальное слово, скрылся за дверью.

* * *

Подолія еще была совсем польской стороною, когда граф Ираклий Иванович переехал в поместье, пожалованное ему покойной императрицей.

Ведь какой-нибудь десяток лет назад Подолія составляла часть Польши, и только с 1793 года, после так называемого второго раздела, эта богатая и плодородная провинция отошла к России. Жива была еще в памяти шляхетства недавняя его вольность, и слишком тяжело было мириться с ненавистной властью. Кое-кто из панов бежал за границу, оставив на произвол судьбы родовые свои поместья. Другие открыто выражали неудовольствие новыми порядками.

Стремясь закрепить своё влияние во вновь присоединённом крае, правительство охотно конфисковало земли непокорных польских магнатов и щедрой рукой раздавало их русским дворянам. Но мало их еще было в крае, и они терялись в среде польских панов. Богатые наделы полу-

чили братья Морковы. Ираклий Иванович — ряд имений в Могилёвском уезде, а Аркадий Иванович за свои дипломатические заслуги стал, по милости императрицы, владельцем целого уездного городка Летичева.

Ираклий Иванович, как и другие русские помещики, встретил очень сдержанный приём со стороны высшего польского общества. Ближайшие соседи ответили на его посещение официальными визитами, но больше к себе не звали и к нему не ездили.

Пышно и весело жили окрестные паны. Пикники сменялись обедами, обеды — балами, но эта привольная жизнь шла мимо семьи графа Моркова.

Поневоле пришлось замкнуться в тесном кругу своих домочадцев и развлекаться обществом брата Аркадия Ивановича, изредка наезжавшего в свои поместья.

Население подвластных деревень было также чуждо графу. Он с трудом понимал говор своих хлопов, дивился незнакомым обычаям, нахмутив брови, слушал рассказы о гайдамацких восстаниях, о былой казацкой вольности. Не по сердцу Ираклию Ивановичу был свободолюбивый дух украинского народа, и невольно вспоминались спокойная и привычная симбирская вотчина или любимая подмосковная. Мелькала даже порой мысль оставить навсегда эти негостеприимно его встретившие места.

Но тучная чернозёмная почва давала громадные урожаи. Фруктовые деревья под тяжестью маслянистых груш, бархатных персиков и сизодымчатых слив сгибали до земли свои ветки. Каменные погреба наполнялись вином из собственных виноградников.

Чересчур соблазнителен был богатый этот край, и рачительный хозяин, Ираклий Иванович, преодолев первые колебания, принялся за устройство новых имений.

На первых порах пришлось графу вместе с семьёю поселиться в роще Шалфиевке, в тесном, неприспособленном доме.

Надо было подумать об устройстве усадьбы и церкви в деревне Кукавке, которую граф наметил своей резиденцией.

Не раз вздыхал Ираклий Иванович по распорядитель-

ном и честном помощнике. Его главный управитель, старый Тропинин, второй год уже покоем в земле.

Когда Ираклий Иванович получил из Петербурга от профессора Щукина письмо с советом вернуть из столицы Василия Тропинина, ему показалось, что помощник найден, сын заменит отца. Художнические знания молодого Тропинина будут весьма пригодны при устройстве нового барского гнезда, кстати он и кондитерскому делу учился, и можно будет ему поручить и заведование буфетом. Порой мелькало сомнение, найдёт ли он преданного, покорного слугу в юноше, оторванном насильно от любимого дела. Невольно мысль обращалась к другому крепостному, к лекарю Прокопию, вспоминался неприятный волчий взгляд исподлобья да странный, срывающийся голос.

Но задумываться над настроением своих крепостных и вообще ломать голову над каким бы то ни было вопросом было не в правилах графа.

Тропинин, не понимая, зачем так неожиданно вызвал его в деревню граф, ждал себе самого худшего. Однако скоро обнаружилось, что барин на него не только не гневается, но даже милостиво к нему расположен.

Привыкал понемногу Василий Андреевич к новой своей жизни.

Грустно было видеть, как в заботах и труде состарилась мать, как отцвела Дунюшка в монотонной жизни графининой девушки.

Вспоминая прошлое — годы учения, картины и музеи, профессоров и товарищей, он чувствовал себя богачом и счастливецом по сравнению с братьями и сёстрами, даже не слыхавшими о той жизни, к которой прикоснулся он.

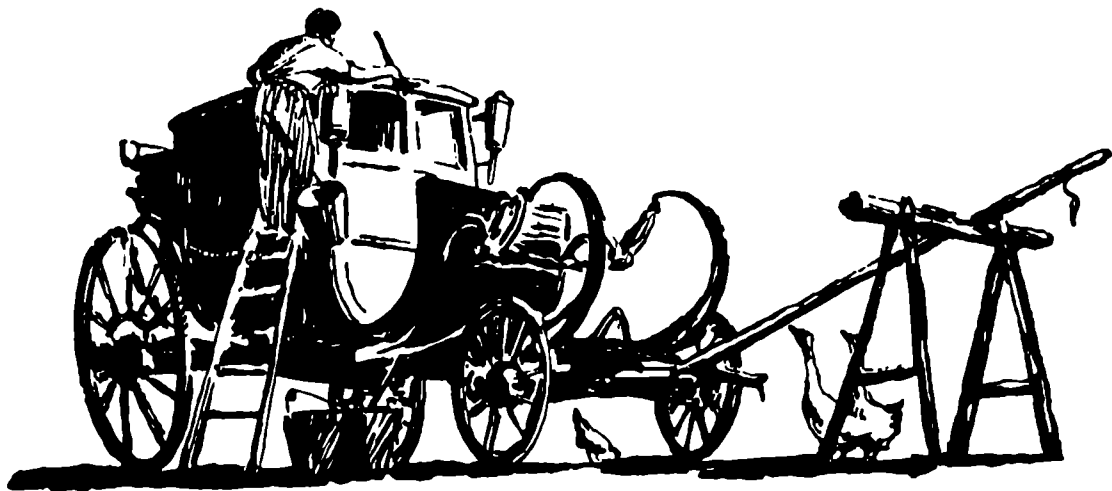
С утра до ночи занят Василий Андреевич. Он руководит постройкой церкви в Кукавке, пишет образа и хоругви, но приходится и красить кареты, исправлять колдцы, учить рисованию графских детей и... являться к обеду в белых перчатках — старшим лакеем. Но всё же иногда перепадает часок, когда можно, вот как сейчас, побыть одному.

Густая лесная поросль и каменистые скалы отделяют его от усадьбы. Можно ещё раз перечесть два десятка

строк, набросанных торопливой рукой Саши Варнека. Собственноручная Сашина писулька опровергает ложную весть, — недавно только пришло сообщение, якобы Варнек внезапно умер на чужбине. . .

Нет, нет, он жив! Работает, счастлив, пишет большую картину. Кто знает, быть может, судьба снова столкнёт их когда-нибудь?!

Всё глубже, всё дальше, замечтавшись, уходит в лес Василий Андреевич. Тропинка, поднимающаяся в гору, круто вдруг оборвалась. Под горою с шумом и клокотом



сбегает ручей. Противоположный берег порос высоким папоротником и кизиль-деревом.

Василий Андреевич остановился. Как не похожи эти дубовые, буковые чащи на молчаливые хвойные леса его родной Новгородской губернии!

Гористые дороги, бурливые серожёлтые речки, неожиданные источники свежей и вкусной воды — всё привлекает, очаровывает его.

Нравится ему и певучий говор здешних жителей, и цветистый убор женщин, широкоплечие, но сухощавые парубки с упругой походкой горцев, и старый дед Нечипор, напомнивший чем-то Рембрандтовского Яна Собесского.

«Выше натуры я ничего не знаю», — поучал его Варнек не раз. И «натура» теперь заменила Тропинину и Академию, и Эрмитаж, и профессора Щукина.

«Подолгия стала моей Италией», — улыбнувшись подумал Василий Андреевич.

Из-под горы неожиданно показалась девушка; небольшого роста, стройная, гибкая, она двигалась быстро, легко, казалось, едва задевая землю.

Заплетённые тугими косами тёмные волосы золотились на солнце, солнце золотило её щёки, и в глубине ореховых глаз, которые она застенчиво подняла, поравнявшись с Тропининым, дрожали красноватые огоньки.

По какому-то необъяснимому побуждению Василий Андреевич остановил её. Лицо её показалось знакомым: действительно, он видел её в хате деда Нечипора; зовут её Ганна.

Признав Василия Андреевича, Ганна рассказала взволнованно, что сгинул неизвестно куда лекарь Прокоп.

— Шукают всюду.

Всё дно реки истыкали баграми, весь лес обыскали, следов не нашли.

— Убежал, — подумал вслух Тропинин, и эта мысль неприятно кольнула его.

Убежал Данилевский, не примирился со своею участью, не захотел мириться.

— Но куда, куда мог он убежать, кто же мог его укрыть? — взволнованно допытывал он девушку.

Но она молчала, отведя глаза в сторону.

За первой встречей с Ганной последовала вторая, за ней третья. . . Встречи становились всё чаще. Карие глаза всё доверчивее глядели в его глаза; и, когда однажды случайно Тропинин коснулся ладонью загорелых пальцев девушки, она не отвела своей руки. . .

Из глубин памяти вставал образ Машеньки. Но с прошлым всё было покончено.

Машенька — свободная девушка, а он крепостной слуга. Быть может, она уже и замужем за купцом из рядов или за консисторским чиновником.

Да и к чему таиться? Побледнел образ Машеньки, потускнел. Рядом с ним другая девушка, не воображаемая, не в мечтах. . . живая, настоящая и которая, кажется, любит его. . .

Пользуясь каждой свободной минуткой, потихоньку от

всех пробирается Ганна в церковь, когда там работает Тропинин. Забившись в угол, не прерывая молчания, напряжённо следит она, как под кистью художника один за другим оживают холсты. Она водит его в хату своих родных, где старые иконы украинских «маляров» открывают ему новый мир своеобразного искусства.

Длинное высокое каменное здание с одним куполом посередине, с коллонами по бокам — кукавская церковь — напоминает итальянский храм.

В библиотеке, оставшейся от прежних владельцев, Василий Андреевич отыскал коллекцию старых планов и снимков с сооружённой древности; целые ночи просиживал он за работой, изучая новое для него искусство — архитектуру.

Не один сосед-помещик позавидовал «русскому медведю», что его хлоп¹ — «на все руки мастер».

Крестьяне дивились, до чего святые на иконах схожи с «панскими дитями», и граф с удовольствием разглядывал портреты своих дочерей, увековеченные на образах кукавской церкви.

— Твоему Тропинину цены нет, — говаривал брату Аркадий Иванович; и граф, самодовольно улыбаясь, соглашался, что деньги, потраченные на учение Василия Андреевича, не пропали зря.

О таланте Тропинина заговорили соседи. Большие деньги предлагали «ясновельможному пану» за его крепостного художника.

Но граф ни за что не хотел продавать Тропинина.

— Василий Андреевич никому не достанется, — был его всегдашний ответ.

После исчезновения Данилевского граф удвоил свои милости по отношению к Тропинину. Невольно закрадывалось опасение, чтобы другой крепостной не последовал примеру сбежавшего «вора». По понятиям графа, Данилевский был «вор»; он украл у хозяина ценную вещь — самого себя.

Тропинина приглашали нарасхват. Каждому хотелось полюбоваться собой на холсте и оставить потомству своё

¹ Крепостной.



Портрет графа И. И. Моркова.

изображение. Граф не препятствовал художнику принимать заказы. Ему льстило сознание, что паны заискивают теперь перед ним.

— Василий Андреевич, собирайся-ка к пану Волянскому. Видимо, хочется хитрой польской лисе увековечить старую свою образину, — весело проговорил Ираклий Иванович, заходя в классную комнату, где Тропинин давал урок рисования графским детям. Графини Наталья, Варвара и Мария, склонившись над столом, усердно срисовывали стоявший перед ними бюст Аполлона. Старушка гувернантка, мадам Боцигетти, ловко и быстро шевеля спицами, сидела у края стола с неизменным вязанием. Василий Андреевич, склонившись над рисунком графини Варвары, исправлял кое-какие штрихи. При входе графа он быстро выпрямился и сделал несколько шагов в его сторону.

— Гляди-ка, как распинается старый лях в любезностях, а в своё время визита подобающего не сделал, как бы следовало благородному дворянину. Ну, ладно, езжай! Пусть чувствует, что у русского помещика и люди-то не такие, как у него, старого скряги.

Тропинин сделал было движение, чтобы выйти из комнаты, но графу охота была ещё побалагурить.

— Ты у меня, Василий Андреевич, в знаменитости вышел. О тебе да о Кармалюке, только о вас двух в губернии и говорят!

При упоминании о Кармалюке молодые графини насторожились. Почти легендарная личность страшного и странного разбойника занимала не только их девичье воображение. Одни называли его злодеем, другие — благодетелем; одни приводили примеры жестокости, другие рассказывали, как он бывает великодушен и добр.

Но, что бы ни говорили о Кармалюке, он был прежде всего неуловимый враг польских панов. Это одно возбуждало в графе нечто вроде симпатии к беглому холопу пана Пигловского.

— Не ограбил бы тебя Кармалюк, как прослышит, что ты с тугим кошельком поедешь от пана Волянского.

— Кармалюк от меня ничего не возьмёт, ваше сиятельство!

— Ты думаешь? — серьёзно спросил его граф. — Ты, что же, встречал его?

— Не приходилось, а только слух о нём идёт среди народа, что от своего брата, крепостного человека, он ничего не берёт.

Конец разговора не понравился графу, он хотел что-то ещё сказать, но вошедший лакей напомнил, что посланный Волянского ждёт Тропинина.

У ПАНА ВОЛЯНСКОГО

Хорошенькая пани Розалия, молодая жена старого пана Волянского, слыла радушной хозяйкой. Она любила и умела принять гостей, и гости не переводились в доме. Соседи-помещики судачили, что, если бы не балы и приёмы, молодая женщина давно умерла бы с тоски в обществе угрюмого мужа. Зная скупой и крутой нрав пана Ромуальда, хвалили её за то, что сумела старого пана прибрать к своим ручкам.

По обыкновению, у Волянских собралось несколько человек: судья из Могилёва, миловидная вдовушка, подруга хозяйки дома, молодой шляхтич из соседнего имения и пан Янчевский из Деражни, прозванный за своё красноречие деражнинским Демосфеном.¹

Сегодня пан Феликс в ударе. Он говорит, говорит без конца. Предвещает близкий поход на Россию императора Наполеона, предрекает гибель России.

— Великие победы императора Франции принесут и нашей отчизне свободу, вольность полякам, — закончил он, понизив голос, но тотчас же, увлёкшись, позабыв об осторожности, заговорил громко, торжественно. — Уже Волынь собирает деньги, посылает во Францию гонцов. Подолье тоже не спит... Я готов дать присягу перед алтарём, что и мы выгоним из нашего края засевших здесь русских медведей и будем снова свободными.

¹ Знаменитый афинский оратор.

— Пан увлекается, — насмешливо перебила его пани Розалия, — всех русских пан собирается выгнать из края, а до сих пор мы не можем спать спокойно в наших постелях от страха перед нападением беглого хлопа...

Пан из Деражни закашлялся, вспыхнул.

— Напрасно пани Розалия конфузит шляхту в моём лице. И русская полиция не может справиться с Кармалюком. Он просто заколдован! Его не раз хватали, ковали в железо, а он цел и невредим из цепей уходит.

— То так понятно, — вставил молодой шляхтич, сосед по имению пана Волянского: — Кармалюку помогают все крестьяне в округе, — они извещают его об опасности, укрывают у себя. Проклятое хлопское отродье. Быть может, кто знает, новую резню готовит нам этот последний гайдамак.

— Пан преувеличивает опасность, — перебила его молодая вдова, — я слыхала, что Кармалюк просто жалеет бедняков. Он грабит богатых, чтобы отдать награбленное бедным.

— Такое предположение делает честь чистому сердцу пани, но, к сожалению, дело не так просто. И если б панство понимало, какую страшную угрозу несут с собой подобные Кармалюки, оно бы не стало ждать содействия русских, а взялось бы само за истребление этого волка.

— А говорят, что этот разбойник очень красив и любезен с дамами, — проронила пани Розалия, бросив кокетливый взгляд на пана Янчевского.

Молчаливо до сего налегавший на выставленные для гостей по приказанию пани Розалии мёд и вино, пан Ромуальд внезапно распалился.

— Я буду не я, Волянский из Карачинец, если не убью собственной рукой бешеного зверя. Довольно терпело благородное панство от хлопа!..

Появившийся в эту минуту лакей прервал излияния пана, что-то сказав ему тихо.

— А ну-ка зови, зови его сюда.

Вслед за лакеем вошёл Тропинин и остановился у двери.

Не глядя на него, пан Волянский продолжал, обращаясь к гостям:

— Мало того, что беглый хлоп разбойничает по дорогам, вот перед вами ещё один хлоп, который смеет в моём доме указывать мне. . .

— Я ничего не указываю пану, — отважился прервать его Тропинин. — Я прошу только отпустить меня домой, раз я не нужен пану. Три дня я живу здесь в бездействии, не приступая к работе, для которой был призван.

— Молчать, наглый хлоп!

Волянский схватил арапник, кем-то забытый на столике в углу.

Побледнев, не помня себя от впервые нахлынувшей на него ярости, Тропинин медленно произнёс:

— Я здесь не хлоп, а художник!

Взволнованные гости вскочили с мест.

Пани Розалия из боязни, чтоб не случилось того, что русский вельможа почтёт для себя оскорблением, пыталась успокоить взбешённого мужа и вытащить из рук его арапник.

В водворившейся на миг тишине явственно слышался стук колёс и лошадиный топот. Пани Эрнестина, подруга хозяйки, чтоб отвлечь внимание Волянского, порхнула к окну и преувеличенно возбуждённо воскликнула:

— До пана Ромуальда гость, интересный, молодой, в дорожном платье. Видно, что из далёкого края.

Не успел Волянский выпустить из рук арапник, который поспешно подхватила пани Розалия, как вошедший лакей доложил:

— Пан Войцеховский из Волыни желает видеть пана Волянского по важному делу.

При слове «Волынь» едва заметное движение прошло по гостиной.

— Прошу!

О Тропинине забыли; и он стоял еще у дверей, когда на пороге показался приезжий.

То был молодой красивый пан. Высокий и сильный, он производил впечатление энергичного и решительного человека.

Гость представился, приложился к ручке пани Розалии и, кланяясь всем, обвёл комнату быстрым и проницательным взглядом, на мгновение задержав его на фигуре

Тропинина. Яркоголубые глаза его, блеснувшие из-под чуть нахмуренных бровей, напомнили Василию Андреевичу кого-то знакомого, однако приезжего пана он видел впервые.

Внимание общества теперь всецело было приковано к гостю, и Василий Андреевич, пользуясь этим, стремительно шагнул вон из комнаты.

«Скорее домой, скорей обратно из этого волчьего гнезда. Во что бы то ни стало добыть лошадей! Надо найти старого Юхима, на руках у которого ключи от конюшни. . .»

Василий Андреевич бросился в людскую, но вместо Юхима, лакея, эконома и всех тех, кого он узнал за своё пребывание у Волянского, в людской толпилось около десятка неизвестных ему лиц. Он кинулся дальше в коридор, проходные комнаты, увешанные оружием и убранные коврами, в сени, но нигде никого не встретил.

«Куда же попрятались все дьяволы слуги?» — подумал Тропинин, выскакивая всердцах на крыльцо.

Никого. . . Как будто бы весь дом вымер внезапно.

Хотел было броситься ещё дальше, во двор, к флигелям и конюшням, но остановился внезапно, обернулся к дому, где только что пережил такие унижительные минуты, взгляд упал на окно. . . Приковался к стеклу. . . И в эту минуту Тропинин забыл и Юхима, и лошадей, и своё желание ехать скорее обратно в Кукавку.

Комната, где только что, полные собственного достоинства, беззаботно сидели благородные паны, была в это мгновение в полном беспорядке. Груды ковров валялись на полу, дорогие меха, вперемежку со старинными серебряными флягами, с кривыми турецкими саблями, свернулись в одну громадную кучу.

Около десятка каких-то людей копошились тут же, запихивая как попало все эти вещи в громадные мешки.

Приезжий пан, серьёзный и весёлый, спокойно стоял посреди комнаты, как будто бы отдавая приказания.

А пан Волянский. . . Василий Андреевич ещё ближе пригнулся к стеклу. Пан Волянский, привязанный ремнями, распластался на диване, как будто внезапно лишённый мускулов; неподвижно и покорно лежали огромные

руки и ноги, и весь пан был точно неодушевлённый предмет, мясная туша, одетая в мужское платье, и только багровое лицо всё пуще напрягалось, синело, становилось страшнее и ещё багровее от контраста с белой тряпкой, воткнутой в рот, как пробка во флягу.

Точно кукла, брошенная случайно, не то лежала, не то сидела в кресле пани Розалия. Её еще за несколько минут до того розовое, оживлённое лицо казалось теперь серым, полинявшим, неживым. Пышно завитые волосы опали и влажными прядками прилипли ко лбу.

Из-под диванов, столов и кресел выглядывали обезумевшие от страха лица гостей, не пытавшихся сопротивляться, и только один Демосфен из Деражни, напрягая богатырские мышцы, ворочая белками, стремился сорвать с себя опутавшие его верёвки.

Василий Андреевич отодвинулся от окна. «Что это? Что?» — бормотал про себя. Мелькнула догадка: «Кармалюк?» Ясно и отчётливо сознание ответило: «Кармалюк».

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Желая доставить удовольствие брату Аркадию Ивановичу, граф привёз к нему своего Тропинина, чтобы тот в сотый раз пересказал о приключении у пана Волянского.

Тепло и уютно в небольшой столовой. Зимнее солнце играет то на отполированной поверхности ореховой рамы, окаймляющей зелёную штофную обивку стены, то на гранёном хрустале графинов. Оба графа, попивая из старинных серебряных кубков темножёлтое бессарабское вино, не устают выпрашивать у Василия Андреевича все подробности нападения Кармалюка.

— Так ты говоришь, старый Волянский, что твой красный шар, чуть не лопнул? — И тучное тело Ираклия Ивановича трясётся от смеха, а на глазах выступают слёзы.

— Экой ты, братец, право, счастливец, что такое представление сподобился видеть! — не шутя завидует Тропинину сухощавый и подвижной Аркадий Иванович.

И Тропинин в сотый раз пересказывает, как лежал и как сидел тот или иной из гостей пана Волянского.

Быстро бежит время за чаркой вкусного вина. Спряталось уже солнце, и на бледносером фоне неба темнеют деревья парка, лениво подставляя порывам ветра свои оголённые сучья и ветки.

Ираклий Иванович выглянул в окно.

Дело уже к ночи идёт, и не худо бы поторопиться в обратный путь, но не хочется выходить на сырость и холод.

Делать, однако, нечего. Ираклий Иванович никогда долго не оставляет свой дом.

Когда лошади, спотыкаясь и скользя по обледенелой земле, въехали в лес, стало уже совсем темно. Ираклий Иванович, укутавшись в тёплую шубу, покачивался на мягких подушках кареты, а Тропинин, выряженный в ливрею выездного лакея, зябнул на козлах. Граф вспомнил об этом и, отодвинув занавеску, позвал:

— Садись-ка сюда ко мне, Василий Андреевич, а то застынешь.

— Ваше сиятельство... — смутился Тропинин.

— Ничего, братец, чужих ведь нет, не робей!

Усаживаясь в карету рядом с графом, Василий Андреевич приготовился снова рассказывать успевшую ему надоесть историю, но изрядное количество выпитого вина, покойная и удобная езда усыпили графа, и Василий Андреевич услышал мерное посапывание Ираклия Ивановича, сопровождаемое тонким посвистом.

«Не худо бы было и мне вздремнуть», — успел только подумать Василий Андреевич, как карета от неожиданного толчка разом остановилась.

Кто-то настойчиво стучал с одной и другой стороны в дверцы экипажа.

Василий Андреевич оглянулся в окно и... отшатнулся. Тёмные, хорошо знакомые глаза застыли в стекле. Изумление, укоризна, радость и испуг, сменяясь, мгновенно промелькнули в них.

«Прокоп!» — чуть было не вырвался крик у Тропинина, но злополучный доктор Московского университета не услышал бы этого крика, так как он был уже на коне и мчался к лесу.

Однако кто-то ещё настойчивее продолжал стучать в противоположную дверцу.

— Ваше сиятельство, проснитесь! — осмелился разбудить графа Тропинин.

— А что, что тебе надобно? — Ираклий Иванович не понимал спросонок, что случилось.

Под нажимом чьей-то сильной руки дверца подалась, распахнулась, и на месте её выросла громадная фигура



в красной свитке. В внезапно вытянувшейся руке заблестела сталь пистолета.

— Давай гроши! — не громко, но внушительно прозвучало в насторожившейся тишине. — Я — Кармалюк.

— Кармалюк? — пронзительно закричал Ираклий Иванович.

Чтобы Кармалюк, тот самый Кармалюк, которым час тому назад он чуть не восхищался, напал на него, — это казалось графу немыслимым, чудовищным, почти святотатственным. — Вот ты какой, Кармалюк!

Обида, изумление, негодование, тесня друг друга, душили графа.

Кармалюк, не меняя положения направленной руки, пристально вглядывался вглубь кареты.

— Оце ж й ти, хлопче, тут! — Кармалюк опустил руку.

Граф быстро взглянул на Тропинина. «Не было ли здесь уговора, не предал ли его разбойнику крепостной?» — Но спокойствие и неподвижность Василия Андреевича рассеяли подозрения графа.

— Це, я бачу, твій крипак? да вин в повази у тебе, — продолжал Кармалюк, почти дружелюбно разглядывая графа, — с тобой рядком сидеть. Оце мени по сердцю!

И Кармалюк неожиданно хлопнул по коленке Ираклия Ивановича.

— Бачишь, пане, не такий страшенный чорт, як его малюют. Дякуй¹ твоему хлопцу, вин тебе спас. Мени и грошей твоих не треба. Другий выкуп з тебе визьму. Нехай вин з мене малюнок зробить, як обещався! Дуже хочется соседних панив порадовати — подарок им от друга Кармалюка послати.

Граф пришёл в себя от внезапного потрясения. Мысль, что его художник напишет портрет страшного разбойника, показалась ему чрезвычайно забавной.

Ираклий Иванович развеселился.

— Ничего не имею против! Пусть пишет!

— Але не зараз, не середь лиса! Я до вас пойду! Будете Кармалюка гостем иметь.

Ираклий Иванович, дивясь на незваного гостя, восхищался его смелостью.

— И ты не боишься ехать ко мне в усадьбу, доверяешь мне?

— Ни, ни боюсь. С Кармалюком, пане, шутки погани. Коли станового покликать схочешь, не только тебе в живих, места, где дом твой стоять, и того не буде!

— Не пугай, не пугай, — захохотал вдруг Ираклий Иванович. — Граф Морков Измаил брал, Очаков брал, никого не боялся и теперь не боится, но и гостей своих не предаёт...

— Оце и добре, — оборвал его Кармалюк. — Нема чого

¹ Д я к у й — благодарю.

дарма час тратить! Идымо, аде почекайте трошки! ¹ — И, соскочив с подножки, он бросился в темноту, крича что-то хлопотававшим у лошадей фигурам.

Тотчас же граф и Тропинин услышали удаляющийся конский топот, тихое ржание и затихающие людские голоса.

Через час граф Морков в сопровождении разбойника Кармалюка и своего крепостного художника въезжал к себе в усадьбу.

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Четвёртый день Тропинин не показывается в классной комнате молодых графинь, четвёртый день по утрам Василий Андреевич направляется в охотничий домик на окраине парка. Там бывает ежедневно и граф.

Последнее время Ираклий Иванович великолепно настроен, шутит с домашними, рассказывает смешные истории и расхаживает по дому с таким видом, будто знает что-то необыкновенно занятное, чего, однако, никому не желает рассказать.

Девушки бегают из парка в дом и обратно. Приносят слухи, один нелепее другого. Графини всё же дознались, — в усадьбе поселился необыкновенно красивый молодой человек.

Почему пребывание этого гостя сохраняется в тайне, почему он не показывается ни за столом, ни в саду? Василий Андреевич на все расспросы, улыбаясь, отмалчивается, а граф, когда Варвара Ираклиевна решилась, наконец, спросить у отца о незнакомце, только руками замал и, закашлявшись, вышел из комнаты.

Какая-то тайна нависла над домом, и навязчивая мысль о странном госте всё больше волнует старших графинь.

День прошел кое-как, в обычных занятиях. Поздно вечером, отослав девушку, убравшую её на ночь, Наталья

¹ Подождите немножко.



Кружевница. 1823 г.

Ираклиевна подошла к открытому окну. Крупная и стройная, она стояла неподвижно, и только глаза её искали что-то в глубине парка. Сквозь деревья и кусты светил огонёк.

Однообразные, пустые, проходят дни. Уходит молодость в глуши, без встреч, без развлечений, а здесь близко кто-то...

— Натали, ты одна?

Возбуждённая, бледная, показалась на пороге сестра Варвара.

— Наташа, я видела его! Только что мы встретились в парке.

— Ты была в парке одна?

Варвара Ираклиевна слишком взволнована, чтоб услышать зависть или укоризну в голосе сестры.

Она опустилась на стул рядом с Наташей и лепечет что-то о красоте незнакомца, о взгляде, которым они обменялись.

— Я хочу его видеть во что бы то ни стало. Мы увидимся...

— Ведь это неприлично, гадко... как ты смеешь? Я расскажу папа.

Варвара Ираклиевна глядит с изумлением на искажённое злобой лицо сестры и, очнувшись, выскальзывает тихо из комнаты.

* * *

Для Натальи и Варвары Ираклиевны потянулись монотонные, ещё более тоскливые дни. Не видно больше огонька в охотничьем домике. Стало известно: таинственный гость покинул усадьбу.

Жизнь вошла уже в свою колею, казалось, обитатели морковского дома позабыли о незнакомце, как вдруг Ираклий Иванович созвал всех своих домочадцев в белую гостиную.

Между двумя рядами выстроившихся по стенам атласных диванов, как бы в ожидании чего-то, застыл задрапированный куском цветной материи, вызолоченный тяжёлый мольберт. Врываясь в комнату сквозь тюль занавесей, солнце играло на вытканых золотом розах стен-

ной обивки, на золоте рам и квадратиках дорогого паркета.

Граф махнул рукой, и Тропинин сдёрнул с мольберта ткань.

Он... он — тот неизвестный красавец, мысль о котором лишила сна и покоя Варвару Ираклиевну. Но кто же он? Почему так странно слились в этом лице отвага, решимость с задумчивостью и грустью?.. Почему он в по-



дольском национальном костюме? Из-под открытого ворота красной свитки виднеется белая раскрытая сорочка. Польские шляхтичи так не одеваются, а русских вообще в крае нет.

— Кто же это, папа? — не могла больше сдержаться Варвара Ираклиевна.

Граф приложил палец к губам и после секундного молчания произнёс торжественно:

— Кармалюк!

Словно брошенный камень, упало это слово в тишину гостиной, и тотчас же какое-то движение, смятение поднялось в комнате. Закрыв лицо руками, стремительно выбежала Варвара Ираклиевна, следом за ней, возмущён-

ная поведением своей воспитанницы, бросилась мадам Боцигетти.

Взволнованно шушукались девочки, младшие дочери графа, и только Наталья Ираклиевна хранила молчание, загадочно и высокомерно улыбаясь. Озадаченный граф повторял только:

— Ну и задали же мы им страху с тобой, Андреевич!

* * *

Поздно вечером Наталья Ираклиевна тихо зашла в комнату Вареньки. Теперь ей было жалко сестру. Влюбилась... в кого? в крепостного человека!

Варвара Ираклиевна, зарывшись в подушки, лежала на постели, вытянувшись, прямая. Наташа осторожно уселась на краешек.

— Брось, Варенька, не думай, — никто ведь ничего не знает. А коли тебе так понравилось его лицо, выпроси у папа этот портрет, повесь у себя да любуйся, сколько тебе угодно.

Варвара Ираклиевна быстро поднялась и повернула к сестре своё заплаканное лицо.

— Да, да, ты великолепно придумала, я буду глядеть на него, буду воображать, что это не разбойник, а человек, равный мне, который мог бы быть моим женихом... Но ведь какой волшебник наш Василий Андреевич! Благодаря ему я могу вообразить себя счастливой...

— Ну, и отлично. Ты проси у папа портрет, а я попрошу самого волшебника!

Мысль, что такое сокровище, как Тропинин, достанется сестре, показалась Варваре Ираклиевне нестерпимо досадной.

— Почему же тебе?

— Не может же он сразу двум принадлежать! Я старшая.

— Вот ещё чего захотела! Этому не бывать, не бывать!...

От гнева, от досады на сестру и её притязания Варвара Ираклиевна забыла о портрете, о своих мечтах и слезах.

ВСПОМНИЛИ!

Как маятник, взад и вперёд, от стены к стене шагает граф по маленькому своему синему кабинету, который после смерти жены служит ему одновременно и спальней.

Назойливые обидные мысли осаждают Ираклия Ивановича, злобное раздражение всё сильнее овладевает им.

Полгода тому назад он писал в Москву, в Петербург,— и до сих пор никакого ответа.

Время опалы давно миновало.

После смерти императрицы он поторопился убраться подальше от царственных глаз, однако прошло уже одиннадцать лет, как с ведома сына удушен Павел...

Пора бы, казалось, вернуть бабкиных слуг, а между тем он, Ираклий Морков, очаковский герой, забытый всеми, прозябает в подольской деревушке.

На Россию надвинулась гроза. Несметные наполеоновы полчища вторглись в пределы империи...

Чем дальше вглубь страны, по пятам отступающих наших войск, продвигается французская армия, тем наглее становятся польские паны. Они, уже не скрываясь, говорят о своей непримиримой ненависти к России, высылают неприятелю миллионы рублей золотом и, считая, что Наполеон предпринял, в сущности, польскую войну, вооружают мелкую шляхту и крестьян.

«Польша отторгнется от России». «Отчизна будет свободна». Шопот становится всё явственнее, превращается в уверенную, громкую речь.

В такую минуту вынужденное безделье становится постыдным, тягостным. Там, в столице, обсуждаются способы отражения неприятеля, формируются новые войска...

Через открытое окно в комнату заползает душная, пахучая темнота августовского вечера. От темноты и духоты становится ещё неуютнее, ещё тоскливее. Не позвать ли Василия Андреевича, чтобы как-нибудь в умиротворяющей беседе о хозяйственных делах скоротать время? Но что это? Как будто бы до слуха долетел колокольчик. Всё явственнее... ближе... вот смолк неожиданно.

Взволнованный, полный предчувствий, граф распахнул дверь в неосвещённый зал и остановился на пороге.



Гитарист. 1839 г.

В глубине комнаты задрожал огонёк. Быстро приближался к нему камердинер со свечой.

— Ваше сиятельство, фельдъегерь из Москвы.

— Проси скорее!

Звякнули шпоры, тонкая стройная фигура склонилась перед графом, и изнеженные пальцы протянули пакет.

— Вспомнили!

Вздрагивает бумага в руках Ираклия Ивановича. С завтрашнего дня, с 7-го августа, граф Ираклий Морков — начальник московского ополчения!

— Прошу передохнуть с дороги. Не откажите откушать вместе с нами. Человек вас проводит. Я тотчас буду к вам.

Закрылась дверь за молодым офицером, и, неожиданно ослабевший, всем своим обмякшим грузным телом прислонился Ираклий Иванович к мраморной колонке, отчего зазвенели хрустальные подвески стоявшего на ней канделябра.

Наконец-то он, генерал в отставке, опальный вельможа, призван на защиту родины! Но что это с ним? Вместе с радостью он ощущает смятение. То, чего он желал горячо, испугало своею внезапностью.

Рано утром надо выезжать. Как же имущество, семья? На кого оставить? Кому поручить? Брат далеко, дети еще юны, не распорядительны... Ни друга ни помощника, — и осенила неожиданная мысль: «Тропинин!»

— Скорее позвать Тропинина!

Вошедший лакей заторопился, видя, как взволнован граф.

Не успел Ираклий Иванович опомниться от всего происшедшего, как запыхавшийся Василий Андреевич стоял перед ним.

Ираклий Иванович глубоко вобрал в себя воздух и молча, не без некоторой торжественности протянул Тропинину бумагу.

Когда глаза Василия Андреевича скользнули по последней строчке, граф начал с усилием:

— Василий Андреевич, только ты один... только тебе... зная твою отменную честность... доверяю тебе... всё.

С видимым трудом поднимая свое отяжелевшее тело, Ираклий Иванович подошёл к столу, открыл ящик и взял оттуда огромную связку ключей, передавая её Тропинину.

— Здесь всё моё достояние, его доверяю тебе... Семейю и имущество оставляю на твоё попечение. Надо увезти детей подальше от этих мест! Здесь оставаться небезопасно! Я сейчас пойду к семье и дорогому гостю, а ты зайди через часок, поговорим ужо поподробнее.

Тропинин, поклонившись, хотел выйти из комнаты.

— погоди, погоди, Василий Андреевич, — остановил его граф, — подойди-ка сюда. — С затуманившимися глазами граф притянул к себе ошеломлённого Тропинина, поцеловал его в щёку. — Прости, голубчик, если что было не так, — и, растроганный, поторопился выйти из комнаты.

А Василий Андреевич, оставшись один, обессиленный, опустился в кресло. Свеча, принесённая лакеем, оплывая, гасла. Только небольшой круг алел на бархате соседнего кресла и блестел на паркете.

Большая связка ключей повисла на руке, отягчая её. Василий Андреевич, почувствовав неловкость, пошевелил пальцами, и ключи зазвенели жалобным, тонким звоном. Тропинин, встряхнув рукой, поднял всю связку к себе на колени. Вот тонкий с острым концом ключ — это от «бриллиантовой кладовой», — так называется маленькая каморка с окованной железом тяжёлой дверью. В ней хранятся все драгоценности графа. Граф водил его показывать свои сокровища. Золотые табакерки, усыпанные бриллиантами, украшенные портретами императрицы; пуговицы от кафтанов из рубинов, сапфиров, аметистов; пряжки башмаков; медальоны; цепи; золотые лорнеты; веера в золотой оправе с узорами из камней.

Граф провёл свою молодость при пышном дворе Екатерины и любил щегольнуть богатством нарядов.

А вот и женские украшения — фермуары, ожерелья, броши, кольца, массивный гребень с тремя огромными сверкающими камнями: изумрудом, рубином, бриллиантом; обруч — браслет с такими же камнями — и такой же перстень.

Василий Андреевич взял в руки другой ключ, короткий и толстый — это от меховой кладовой. Он вспоминает

атласные нарядные шубы и шубки на куньем, собольем меху, розовую парчовую с горностаевой опушкой, бархатную пунцовую на чёрном беличьем хребтовом меху, малиновую бархатную, по ней травы золотые, на чернобуром лисьем меху. . .

Вот и ещё один ключ — от бельевой: дюжины сорочек тончайшего голландского полотна с кружевными манжетами, с кружевными воротниками, батистовые и голландские простыни.

Вот ещё ключ, от фарфоровой. . . Севрские, саксонские сервизы. Фигуры и украшения для стола. . .

Всё графское богатство повисло на его руке. И внезапно, отчётливо, как наяву, встал перед ним Кармалюк, когда, статный и красивый, небрежно и ловко перекатывал он червонцы в руки деда Нечипора. А вот рядом и другой Кармалюк — «пан из Волыни», спокойно и уверенно распоряжающийся ограблением пана Волянского. Да, Кармалюк знает цену золота, презирая его.

Сколько коров, свиней можно купить на графские бриллианты! Сколько деревень одеть ценою графских шуб и белья! И это всё, благосостояние нескольких сот человек, у него в руках. . .

Взволнованный поднялся с кресла Василий Андреевич, легонько потрянул ключами. Здесь власть, могущество. . . свобода. Свеча вспыхнула ярче и внезапно погасла совсем.

Тропинин остался неподвижно стоять в темноте. И как тогда, когда впервые от Ганны узнал он о бегстве Данилевского и что-то болезненно кольнуло его, он и сейчас остро, мучительно ощутил, что взманившая его дерзкая мысль бессильна, как стремительно падающая, подстреленная птица. Он сознавал теперь ясно, что пойти против судьбы он не сможет, не посмеет. . .

Василий Андреевич опомнился. Где-то за стеной слышались голоса, шаги. Дом жил, хоть и встревоженной, но всё же обычной своею жизнью. Василий Андреевич окончательно пришёл в себя.

Сейчас он увидит графа, выслушает распоряжения и, не обманув его доверия, терпеливо примет новые испытания.

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я

В МОСКВУ!

Уехал в Москву граф. Уехали за ним старшие сыновья, а молодые графини, в сопровождении мадам Боцигетти и целого штата девушек, направились в отдалённую и безопасную симбирскую деревушку. Последним двинулся на Москву под началом Тропинина обоз, нагруженный до отказа барским добром.

Опустевший, тихий стоит теперь барский дом в Кукавке. Пожелтевшие и заалевшие листья, отламываясь от своих ветвей, проделывают в воздухе один-два курбета и беспомощно валяются на почерневшую жирную землю.

Вечерами останавливается над домом луна, недоуменно разглядывая скучающий в безмолвии парк и пруды.

Всё дальше и дальше, гроыхая и покачиваясь, отходят от дома скрипучие, тяжёлые возы.

Медлительно, лениво тащатся волы. Недовольные чумаки ворчат, посылая «до бисова батьки» графа с его доверенным, грозят бросить всё и вернуться к родным хатам. Промеж себя вполголоса толкуют о приходе Наполеона, об освобождении от ненавистного крепостничества. А обоз тем временем всё же продвигается вперёд.

Миновали Летичев, Бердичев, проехали Киев, Нежин, Глухов. . . Кончалась Украина. Начиналась Россия.

Чуждо звучит здесь украинская речь, недружелюбно поглядывают на чумаков встречные, дивясь на чудной костюм и незнакомый говор.

В деревушке за Орлом мужики и бабы приняли громыхающий тяжёлый поезд за вражескую артиллерию; вооружившись вилами и рогатинами, приготовились к встрече «француза».



Пришлось Василию Андреевичу выступить вперёд и на чистейшем русском языке утихомирить патриотический пыл орловских крестьян.

Невыносимо тяжела дорога. Бунтуют, грозят, замучились чумаки, а ещё больше их замучился Василий Андреевич. С ним рядом, теперь уже на всю жизнь, готовая разделить все невзгоды и лишения, верный друг и жена его Ганна — Анна Ивановна — с маленьким сыном Арсюшей на руках.

Долог еще путь, впереди неизвестность. И только одна мысль, — что рано или поздно, а попадёт он в Москву, — только эта мысль ободряет Василия Андреевича и даёт новые силы.

И когда в облаке пыли показалась Тула, Тропинин обрадовался, как ребёнок.

«Тула городок — Москвы уголок». Тула — преддверие Москвы.

С той поры, как волею графа Тропинин насильственно был оторван от Академии, дорогим воспоминанием, лишённым реальности, стал для него Петербург. Всё, что соединяло его с искусством, сосредоточилось теперь в Москве.

Постоянно сопутствуя графу в его поездках в столицу, Тропинин узнал её и полюбил.

Картинные галереи богатых вельмож заменили ему Эрмитаж и академические залы. В собрании Голицына он копировал «Благословение Иакова» Рибейры и «Снятие со креста» Каведония. Постоянным посетителем он был и в галерее Тучкова. Алексей Алексеевич Тучков, невзирая на разницу в их положении, принимал его всегда как дорогого гостя, советовался о новых покупках, ценил его указания. В Москве можно было поговорить об искусстве, услышать о художественных новинках и от Павла Петровича Свиньина и от Петра Николаевича Дмитриева.

С этой мыслью о Москве и в надежде на отдых, подгоняя своих чумаков, въехал Василий Андреевич в Тулу.

Однако достаточно было беглого взгляда на городские улицы, чтоб понять, что отдыхать здесь не придётся. Казалось, жители не жили больше в своих домах, чиновники не ходили в присутствие, купцы не сидели по лавкам. Все побросали свои обычные занятия и толкались на площади у губернаторского дома.

Какие-то люди показывались на пороге, кто-то говорил близстоящим, те передавали дальше, и слухи росли, тревожные, смутные, нелепые.

— Наши войска оставили Москву.

Французы идут по Калужской дороге.

— Французы вошли в Москву.

Морковские возы остановились на площади против губернаторского дома.

Анна Ивановна с маленьким Арсюшей вышла из возка побродить по незнакомому городу, но быстро вернулась озабоченная, встревоженная, и Василий Андреевич не отпускал её больше от себя.

Город имел вид военного лагеря, казалось, вот-вот снимется с места.

А в сумерках на небе появилось огромное зарево. Никто из жителей не уходил с площади, дивясь жуткому зрелищу.

К вечеру стало известно: горит Москва.

Неприятель подошёл к древней столице, и начались пожары.

В ту же ночь несколько тысяч семейств покинули город. Не успели выехать из Тулы морковские возы, как посланный графа догнал Тропинина и вручил ему приказ отправиться в далёкую Симбирскую губернию, в деревню Репеевку.

В ГЛУБИНУ РОССИИ!

И снова потянулись морковские возы. Но ещё тяжелее, ещё труднее стал теперь путь. Раньше, до Тулы, Тропинин мог надеяться на отдых, впереди мерещилась Москва, работа, картины.

Теперь погибли все его надежды. Французы грабят и жгут Москву. В сожжённом городе не уцелеют, конечно, ни его личные произведения, ни картины великих мастеров, служившие ему образцами. Пожар Москвы был его личным безмерным горем.

Но Тропинин, ничем не выдавая своего настроения, спокойно и твердо продолжал вести обоз, ободрял чумаков, утешал замученную вконец Анну Ивановну, сам не зная покоя, обо всех заботился и всё устраивал.

Но едва только добрались до Репеевки, едва успели расположиться на отдых, как пришло новое, ошеломляющее известие: «Неприятель оставил Москву, Москва свободна», — и вслѣд за этим немедленно, по приказанию графа, обоз двинулся в обратный путь.

Как ни старался Василий Андреевич представить себе сожжённую, разграбленную Москву, он этого не мог. Москва в его воображении была пѣстрой, крикливой, с синими и золотыми главами церквей, с деревянными домиками, заблудившимися в зелёных тупичках и садах, Москва нарядная, шумная, весёлая — такая, какою видел он её в последний раз.

Когда, наконец, измученный нравственно и физически, с больной женой и Арсюшей на руках, он дотащился с вверенным ему обозом до того места, которое называлось Москвой, он увидел огромное обгорелое поле.

Кое-где чернели двух-трёхъярусные печи, громоздились одна на другую кучи мусора, зияли пустыми пролётами одинокие развалины. Только уцелевшие стены Китай-города, да Кремль, да единственный в мире храм Василия



Блаженного указывали, что Москва всё же была и будет здесь.

Дом Пашковых, который Тропинин помнил великолепным и пышным, с бьющими фонтанами, с важными павлинами, выступающими по саду, и чёрными лебедями, плавающими в прудах, представлял теперь собою голый и страшный скелет.

Во рву у Кремля, в зелёной вонючей воде плавали и гнили кипы архивных дел. Вместо нарядно одетых барынь бродили по улицам странные фигуры. Посреди пустыря, бывшего когда-то людной улицей, Василий Андреевич остановился с удивлением. Перед ним шёл, размахивая руками, высокий человек, одетый в пёструю хламиду. Подойдя ближе, Тропинин разглядел потрёпанное, грязное

одеяло, с дыркой посредине, сквозь которую высовывалась нескладная репообразная голова с парой жалких, слезящихся глаз, — то был пленный француз.

В дверях «благородного собрания» пристроилась лавчонка, где продавали лапти, кульки, верёвки, а в Охотном весь базар поместился на возах.

Графский дом Василий Андреевич застал в самом жалком состоянии, или, вернее, совсем его не застал. Главный дом сгорел дотла, уцелели только кое-какие флигели и службы. Ни графа, ни кого-либо из семьи не было в Москве, дворня разбежалась, и снова заботы и хлопоты всей своей тяжестью упали на плечи Василия Андреевича.

Ч А С Т Ь П Я Т А Я

РАЗОРЕНИЕ

Москва наполнялась народом, московские жители неудержимо стремились к своим насиженным гнёздам. Найдя на месте обжитого деревянного, уютного дома, с большим двором, с садом, с конюшнями, банями, флигелями и флигельками, груду развалин, москвичи деловито принялись за восстановление разрушенного врагом.

Закопошились артели плотников и каменщиков; то там, то сям возникали ларьки и лавчонки; жизнь возрождалась, и к началу 1813 года в Москве едва ли не было больше народа, чем до нашествия Наполеона. Благодаря энергии и распорядительности Василия Андреевича семья графа Моркова находилась в более благоприятных условиях, чем большинство вернувшихся москвичей.

К моменту роспуска московского ополчения граф и семейство его могли въехать в собственный, заново построенный дом.

Недаром Ираклий Иванович каждому и всякому похвалялся, что покойная супруга принесла ему в приданое неоцененное сокровище — Василия Тропинина. На всех углах и перекрёстках, и в Английском клубе, и в гостиных граф рассказывал о своём художнике.

Московская жизнь вошла в свою обычную колею. Барышни танцевали на балах. Старые и молодые господа играли в Английском клубе. Целыми семьями ездили друг к другу в гости. Завтракали, обедали, ужинали. И морковский дом был всегда полон народа.

Постоянными посетителями графа были: двоюродный брат Иван Алексеевич Морков и старые его приятели — Павел Петрович Свињин и Пётр Николаевич Дмитриев.

* * *

После обильного завтрака гости перешли в жёлтую гостиную и в ожидании кофе лениво покуривали из длинных бисерных чубуков.

— Вы до сих пор не показывали мне этих портретов. Неужели и это работа Тропинина?

Свињин подошёл ближе к стене. Из золотых рамок, повешенных рядом, глядели оба графа Моркова — Ираклий Иванович и Аркадий Иванович.

Свињин не сводил глаз с них.

— Это, поверьте, изумительные вещи. Нет, граф, как хотите, а вы недостаточно цените вашего художника!

Графу только это и надобно было. Он с увлечением стал рассказывать в сотый раз о добродетелях Тропинина, об его неподкупной честности и распорядительности.

— А уж, если б не я, братец, не открыть бы тебе сей алмаз, — напомнил старые времена Иван Алексеевич двоюродному брату. — Не мало я с тобой из-за него повоевал!

— Да уж, подлинно ваш человек заслуживает всяческого одобрения, — здесь Пётр Николаевич Дмитриев запнулся, посмотрел исподлобья на Ираклия Ивановича и закончил не без лукавства, — Тропинин, ваше сиятельство, заслужил у вас вольную...

Граф недовольно поморщился, желая, видимо, прекратить не совсем приятный для него разговор, но Павел Петрович Свињин с горячностью подхватил слова Дмитриева и стал доказывать необходимость отпустить на волю Тропинина.

— Такой человек навсегда сохранит преданность вашему дому и благодарность к бывшему господину и благодетелю.

— Грех держать в неволе человека, одарённого таким талантом, великий грех. . .

Граф то багровел, то бледнел; он доказывал, что Тропинину не худо живётся. На свои средства ему б не устроить такой мастерской, какую он имеет сейчас.

Но Свиньин с Дмитриевым только руками замахали.

— Да будь он вольный, ему тысячные заказы поваляли бы.

— Я не отказываюсь, господа, я дам ему вольную. . .

— Да, дадите в зубы пирог тогда, когда зубов-то не будет.

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ

С давних пор Москва была средоточием дворянских семейств. Каждую осень из сёл и деревень тянулись сюда обозы с помещичьей утварью и разными запасами, и каждую весну вереницы возов отправлялись обратно в поместья.

Ничто не изменилось в этом отношении после войны 1812 года. Со всех концов России съезжались сюда на зиму потанцевать, повеселиться, себя показать и людей посмотреть.

Машеньки и Катеньки отплясывали в своих атласных башмачках и усердно привлекали мужские взоры и сердца, надеясь сыскать себе мужей.

Небезрезультатно выезжали в свет молодые графини.

Наталя Ираклиевна стала невестой.

В доме царила предсвадебная кутерьма. Из французских лавок то и дело привозили большие и маленькие картонки, нарядные «мадамы» приезжали примерять дорогие платья, башмачники дюжинами присылали атласные туфельки всех оттенков и цветов, к каждому туалету особые, а девушки с утра до вечера ползали по полу, подкалывая и подшивая новые платья.

Наталья Ираклиевна, в облаках газа, тончайшего шёлка и батиста, не отходила от широкой псише¹, любуясь собой. Все сёстры и мадам Боцигетти толпились здесь же, высказывая свои мнения и давая советы. И только Варвара Ираклиевна держалась как-то особняком, угрюмо сторонясь общего оживления.

— Наташа, да ты в этом тряпье совсем потонула, матушка!

Ираклий Иванович с шутливым ужасом развёл руками, останавливаясь на пороге большой комнаты, где вороха лент, кружев, вееров, шалей, казалось, стремились вытеснить друг друга и расположиться с большим удобством на диванах, креслах и комодах.

— Ах, папа, то, что вы называете тряпьем, — истинные чудеса, художественные произведения несравненной мадам Шальме!

— Да, да, знаю, что твоя обер-шельма не одного мужа и отца разорила этаким чепухой! Ладно, иди ко мне, я тебе что-то поценнее покажу.

Предвкушая новые гостинцы, пунцовая от удовольствия, Наталия Ираклиевна вышла за отцом.

Варвара Ираклиевна хмуро посмотрела ей вслед и тоже вышла из комнаты.

Когда Ираклий Иванович открыл дверь в кабинет, Наташа замерла. Письменный стол отца весь искрился, горел, переливался: сапфирные серьги, рубиновые броши, усыпанные бриллиантами гребёнки, фермуары, старинные жемчужные серьги в виде виноградных кистей, браслеты, голубевшие бирюзой, — всё это предназначалось ей.

Довольный произведённым впечатлением, Ираклий Иванович, благодушно усаживаясь в кресло, подозвал дочь поближе.

— А теперь, матушка, хочешь ко всему этому добру ещё всех нас в придачу: и меня с Дианкой, и нашу добрую мадам Боцигетти, и братьев и сестёр?

Наталья Ираклиевна кошечкой прижалась к отцу:

— Как же это сделать, папа?

¹ Большое стоячее зеркало.

В эту минуту дверь тихонько отворилась, и на пороге без предупреждения появилась Варенька. Вся она была какая-то выжидающая, напряжённая.

— Ну и недогадлива же ты, дочка,— Ираклий Иванович не заметил вошедшей Варвары. — А на что же у нас Василий Андреевич? Сходи-ка к нему! В мастерской, как живые, все тут как тут.

— Такой подарок для меня драгоценнее всех украшений. — Наташа склонилась, целуя руку отца.

— Чего ещё выпросить хочешь? Говори, лисичка.

Варя стояла, не двигаясь, в дверях.

— Папочка, а если бы я вас ещё о чём-то попросила?

— Да ну, говори же, проказница, чего робеешь с отцом?

— Если бы я у вас попросила... папа, ведь вы когда-то Василия Андреевича в приданое за матушкой получили?

— К чему ведёшь? — вдруг резко оборвал её Ираклий Иванович.

Наташа окончила скороговоркой, опустив глаза:

— Дайте теперь мне его!

— Вот ещё что выдумала! — раздался злобный, пронзительный возглас Варвары Ираклиевны.

Бледная, трясущаяся от гнева, она продолжала выкрикивать:

— Ты одна, что ли, у папеньки? .. Всё тебе подавай, всё самое лучшее...

Ираклий Иванович поднялся с кресла, оттолкнув прильнувшую было к нему Наташу.

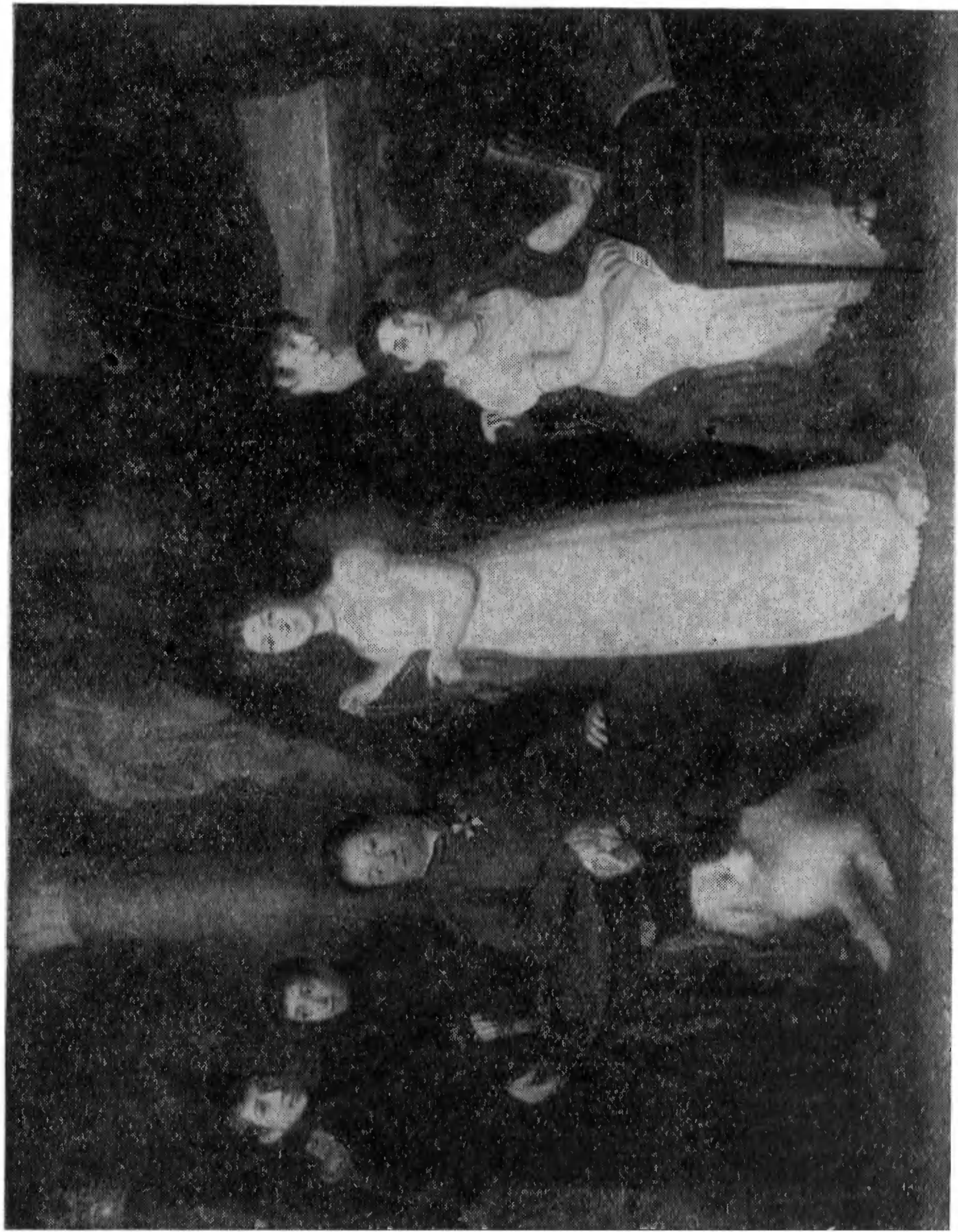
— Замолчите сейчас же обе!

Он хлопнул с силой по столу, и задрожавшие драгоценности жалобно звякнули.

— Зарубите себе на носу, раз навсегда запомните, и ты, Варвара, и ты, Наталья, — пока я жив, Тропинин никому не достанется.

* * *

Чем ближе день свадьбы Натальи Ираклиевны, тем напряжённое и упорнее работает Тропинин. Граф торопил



Семья Морзовых.

его с окончанием портретов и даже ради этого освободил его от некоторых обычных занятий.

В мезонине большого дома Василию Андреевичу отведены две небольшие комнаты. Целыми днями копошится здесь Анна Ивановна, напевая маленькому Арсюше родные свои украинские песенки. Невольно прислушиваясь к звуку этих песен и вспоминая солнце и краски Подолии, работает Василий Андреевич в просторной и светлой мастерской. Две громадные картины расположились на стенах, одна против другой. Все члены графской



семьи поместились на этих портретах. Графиня Наталья остановилась у стола, дошивая свою работу. Иголка уже воткнулась в материю, и вот-вот замелькают быстрые стежки.

Мадам Боцигетти, сухая старушка в плоёном белом чепце, кажется, шевелит спицами. Младшая дочь графа Вера провела пальцем по клавишам — и сейчас раздадутся звуки музыки.

Василий Андреевич отошёл в сторону, поглядел на фигуру графа, прищурился. Намедни Николай Семёнович Мосолов нашёл неудачным поворот тела Ираклия Ивановича, а он — тонкий ценитель и знаток искусства. «Ну, теперь, кажется, всё в порядке».

И как бы в ответ на его мысль раздалось в дверях:

— Молодчина, Василий Андреевич, сам граф собственной персоной не повернулся бы быстрее.

Мосолов, адъютант Ираклия Ивановича, был постоянным посетителем Тропининской мастерской.

В это время тонкая лесенка жалобно проскрипела под грузом чьего-то тучного тела.

— Никак их сиятельство жалуют сюда.

Действительно, в эту минуту в комнату входил Ираклий Иванович в сопровождении молодого незнакомого господина.

Гость оказался приезжим французом.

Граф считал своим неременным долгом всем посещавшим его показывать своё «сокровище», как он шутливо называл Василия Андреевича.

Остановившись у портретов, француз долго и внимательно разглядывал их.

— Запечатленные талантливой кистью художника, члены вашей семьи будут жить вечно, — француз приветствовал графа и затем, обратясь к Тропинину на ломаном русском языке, восхищался его дарованием, говорил, что он от души рад познакомиться с ним и, что он завидует художнику, который может обессмертить своих друзей.

Очевидно, француз не совсем понимал характер отношений между Тропининым и хозяином дома.

Вечером того же дня, приглашённый хлебосольным хозяином откусать по-семейному, снова появился monsieur Гуаффье в графском доме.

В жёлтой гостиной собрались все члены морковской семьи. Наивничая и жеманясь, о чём-то беспрерывно щебетали молодые графини. Болтовня московских барышень наскучила гостю, и он, учтиво поддерживая разговор, внутренне позёвывал и бранил себя за глупо потраченное время.

Но вот широко распахнулись двери, и лакей провозгласил: «Кушать подано».

Облегчённо вздохнув при мысли о скором конце затянувшегося визита, Гуаффье подал руку графине Варваре и двинулся вслед за графом в столовую.

Тяжёлое великолепие стола поразило иностранца. На тугой ослепительно белой скатерти холодно поблёскивали серебряные тарелки, середину стола занимала огромная хрустальная ваза, поддерживаемая резвящимися серебряными амурами. Два огромных массивных канделябра были поставлены по краям; казалось удивительным, как стол не согнётся под тяжестью этих канделябров, тарелок, громадных блюд, наполненных всевозможными яствами.

Когда monsieur Гуаффье подошёл к своему месту, он увидел недавнего своего знакомого — художника.



— Очень, очень рад видеть мэтра в этом обществе. Прошу вас занять место рядом со мной. Вы мне доставите истинное удовольствие.

Экспансивный француз был действительно от души рад этой неожиданной встрече.

— Благодарю вас, сударь, покорно благодарю...

Покрасневший до корня волос, совершенно пунцовый Василий Андреевич бормотал слова отказа, не двигаясь с места.

Гуаффье, недоумевая и немного обидясь, искал глазами графа, который по странной случайности усаживался на тот самый стул, возле которого, как бы приросши к полу, стоял художник.

Граф, повидимому, был чем-то недоволен и даже как будто смущён.

Молоденькая графиня Вера с трудом удерживалась от смеха, а мадам Боцигетти казалась совершенно сконфуженной и взглядами умоляла свою воспитанницу не забывать приличий.

Неловкое молчание на несколько мгновений воцарилось за столом, и француз, ничего не понимая, как-то сразу обмяк и желал только одного, чтоб несносный визит поскорее окончился.

Улучив удобную минуту, Мосолов шепнул гостю, чтоб разъяснить происшедшее, что художник, чьими произведениями так искренно он восхищался, — крепостной человек.

Едва заметно пожав плечами, ничего не ответил monsieur Гуаффье адъютанту графа, но долго потом у себя на родине рассказывал о странных обычаях диких москвитов, у которых знаменитые художники исполняют обязанности лакеев.

Поздно вечером граф велел позвать Тропинина. Тот вошёл и остановился у порога.

Граф, сидя у стола в мягком сафьяновом кресле, медленно повернулся к вошедшему. Несколько секунд помолчал, как бы обдумывая что-то, и, наконец, сказал коротко:

— Когда мы кушаем, Василий Андреевич, твоё место за стулом может занять кто-нибудь другой.

Тропинин нагнул голову и продолжал стоять на том же месте.

Но граф больше ничего не прибавил и, снова повернувшись спиной к Василию Андреевичу, продолжал прерванное чтение.

КАРТОЧНАЯ ИГРА

— Ираклий Иванович, вам сдавать, — лицо Дмитриева при свете затенённых зелёными колпачками свечей кажется землистым, мертвенным, почти зловещим, и в голосе такие же зловещие, напряжённые нотки.

Ираклий Иванович глядит на пальцы своего партнёра. Бледные, гибкие, они точно впились в карты, и кажется графу, что карты выросли из пальцев Дмитриева.

Дмитриеву сегодня чертовски везёт. Несколько человек оставили свои столики, подошли к столу графа Моркова.

— Ваша бита.

— Ещё раз бита.— Дмитриев приписал что-то мелком на сукне.— Граф, ваш проигрыш равняется стоимости недурной подмосковной. Угодно продолжать?

— Сдавайте!

Граф медленно вытер лоснящееся красное лицо.

Пять-шесть завсегдатаев Английского клуба с любопытством наблюдали за карточным турниром Дмитриева с Морковым.

Морков ещё раз выбросил карту, и Дмитриев небрежно отбросил её, затем, вынув часы, проговорил равнодушно:

— Третий час. Пора кончать.

Ираклий Иванович грузно поднялся с места.

— Пётр Николаевич, я надеюсь завтра вас обыграть!

— Ваше сиятельство, я прошу вас немедленно уплатить ваш долг или...

В игорной комнате стало настолько тихо, что, казалось, посетители приросли к своим местам, окаменели, превратились в статуи, поэтому необычайно громко прозвучал голос графа, когда он повторил последнее слово Дмитриева:

— Или?

— Есть один способ, Ираклий Иванович, рассчитаться со мной, не платя мне долга, — отпустить на волю Василия Тропинина, и тогда не вы у меня, а я у вас буду в долгу.

— А? Каков?

— Какую штуку выдумал Пётр Николаевич!

— Ай да Дмитриев! — побежало по всем углам и закоулкам Английского клуба.

Граф стоял несколько мгновений в оцепенении, затем поднял глаза и, увидев насмешливые, ехидные взгляды

приятелей и знакомых, повернулся к Дмитриеву, чтоб проститься, и прибавил:

— Дозвольте немедленно, по возвращении из клуба, прислать вам свой долг, хотя бы ценой в подмосковную.

Дмитриев досадливо махнул рукой. И по клубу снова понёсся шопот, но уже не насмешливый по адресу Моркова, а восхищённый — вот, дескать, как поступают истинные господа и дворяне!

«Судьбой своего человека я волен распоряжаться по своему и не потерплю ничьего вмешательства, — думал Ираклий Иванович, возвращаясь в карете на Поварскую. — Вся Москва говорит теперь о Тропинине! Свиньин статью написал в «Отечественных записках», восхваляя талант Тропинина. Не всякому удаётся повесить в своей гостиной портрет кисти Тропинина, а он всё же мой, мой!»

Ираклий Иванович самодовольно улыбнулся, на минуту забывая о крупном проигрыше, заплатить который следовало безоговорочно.

* * *

Василий Андреевич еще спал, когда Андрюша, графский казачок, прибежал его позвать к Ираклию Ивановичу.

— Не стряслось ли чего?

Напуганная необычным вызовом графа, Анна Ивановна тихонько крестилась, провожая мужа до двери.

Не успев облачиться в домашнее платье, Ираклий Иванович в том же мундире и в орденах, что был в клубе, сидел у стола, что-то упорно вычисляя. Когда Тропинин появился на пороге, граф поднял своё одутловатое, жёлтое после бессонной ночи лицо и мутными глазами поглядел на него.

— Вымогают тебя у меня, хлопочут всячески, чтоб я отпустил тебя...

Граф рассказал о давешнем проигрыше.

— Но, слышишь ты, — Ираклий Иванович повысил голос, — этому не бывать! Я, покуда жив, не дам тебе вольной!

Василий Андреевич не поднимал глаз.

— Ваше сиятельство, я ведь ни разу вас ни о чём не просил.

— Да, знаю, знаю. Про тебя слова худого не скажу. Это всё твои старатели из кожи лезут. А ну-ка, Андреич, скажи по совести, — голос графа смягчился, — худо тебе у меня, что ли? Я ведь тебя не стесняю ни в чём. Пиши себе кого хочешь, бери денег сколько хочешь!

— Покорно благодарю, ваше сиятельство. — Тропинин ещё ниже нагнул голову и так же, не шевелясь, продолжал стоять на одном месте.

— Ну, иди с богом.

Когда Василий Андреевич вернулся в свои комнаты, Анна Ивановна думала, — нивесть что случилось, — так он был бледен и расстроен. Полная



тревоги, бросилась она к мужу. Осторожно отстранив её рукой, Василий Андреевич опустился на первый попавшийся стул.

Тропинин давно уже не думал о воле, не надеялся на неё, но, когда граф рассказал ему о клубной игре, одна мысль, что свобода была так близка, смутила его. Откуда-то издалека поднималось упорно заглушённое, злобное, едкое чувство — «холоп»...

И тоска, с которой больше он не мог совладать, всё сильнее овладевала им.

Анна Ивановна пыталась утешить мужа.

— Ведь граф любит, не обижает и в обиду не даст!

— Эх, Аннушка, сегодня хорош, а кто знает, что может быть завтра... Ведь я его вещь. Достался в приданое, а теперь кому-нибудь достанусь в наследство, да ещё в придачу с тобой да Арсюшей...

Анна Ивановна молчала. В комнате стало тихо, и вдруг криком вырвалось у Василия Андреевича:

— Что же делать, голубушка? Что делать? — Тропи-

нин вскочил, заметавшись по комнате. — Бежать, стать бродягой, как Кармалюк... как Данилевский!

Опомнившись, он подошёл ближе к жене, взял её за руку и сказал каким-то надорванным, усталым голосом:

— Не могу я этого, Аннушка... не могу, — и ещё тише добавил: — а как же тогда работа, художество и вы с Арсюшей? Нет, мне дорога только туда — и, показав на дверь, как бы прогоняя навязчивую мысль, он быстро вошёл в мастерскую.

Ч А С Т Ь Ш Е С Т А Я

БОЛЕЗНЬ ТРОПИНИНА

До сих пор граф пресекал решительно все поползновения отнять у него Тропинина.

Не трудно противопоставлять свою волю желаниям людей, но как бороться с судьбой, грозящей лишить его человека, с которым он ни за что не желал расставаться!

Третий месяц тяжело болен Василий Андреевич — смерть нависла над его постелью.

«И нечем, положительно нечем его заменить», — раздражающая, волнующая мысль не даёт покоя Ираклию Ивановичу, и поневоле вспоминаются все обстоятельства злополучной поездки в Подолию.

Не успели отъехать от Курска, как навстречу мужик с телегой. Точно человек, припавший на одно колено, накренилась телега набок и ни с места... Мучается, пыхтит мужик. Тропинин, конечно, первый взялся помогать. Наддал, что было силы. «Мне бы удержать его, не разрешить, — думает с досадой граф, — так нет же, силищей его восхищался».

Телега встала, выпрямилась, а Тропинин, точно бревно, повалился наземь. Что-то с ногой приключилось вне-

запно, разбухла, набрякла! Уложили, еле живого дотащили до Кукавки.

А теперь день ото дня положение ухудшается.

Граф подошёл к двери, распахнул её настежь.

С широкого балкона, уставленного цветущими растениями, спускалась в цветник широкая, пологая лестница. Справа от цветника — фруктовый сад, дальше — парк, ещё дальше белеют в зелени мужицкие хаты.

«Где-то у дочерей должны быть виды этих мест — картинки Тропинина».

Граф хлопнул в ладоши, — мальчика, явившегося на зов, послал к молодым графиням с приказанием немедленно принести кукавские виды.

Ираклий Иванович вышел на балкон. Вся Кукавка, богатая, привольная, перед глазами.

«Как же одному без толкового помощника управиться с таким хозяйством?» — Горестные мысли с новой силой овладели графом, но, отвлекая его внимание, на пороге показалась Варвара Ираклиевна со свёртком в руках.

— Папа, вы уж не гневайтесь на нас, картины подмочены; мы их испортили дорогой.

Ираклий Иванович развернул двенадцать видов Кукавки. И всегда красное лицо его ещё больше побагровело.

— Не уберегли! Сгноили! Не велика беда была б, если б тряпье своё испортили, я бы тотчас и купил, — а то художественную работу... не покупное, чай. А еще ученицы Тропинина — стыд, срам! — и с досады Ираклий Иванович отшвырнул покорёженные, испорченные картинки.

Варвара Ираклиевна, обиженная, ответила дерзко:

— Ну, что же за беда? Наш ведь человек. Новые напишет — лучше этих!

— Да, так ты и знаешь, что напишет! А как жив не останется! — И снова, вспомнив о возможной и близкой утрате, Ираклий Иванович взволнованно поднялся с места и, пройдя несколько шагов, грузно опустился в кресло у самых перил.

— Грешен я, Варвара, что упрямылся, на волю не отпускал... теперь и так его не станет...

Барвара Ираклиевна быстро, исподлобья взглянула на отца, и два алых пятна вспыхнули на её щеках.

Не то её испугала возможность смерти Тропинина, не то боязнь, что отец и в действительности отпустит на волю художника.

* * *

— Я операции делать не соглашаюсь. Опухоль рассосётся сама собой. Организм у него богатырский. Операция не нужна, только вредна-с.

— Кто же в Москве может спорить с доктором Гильдебрантом? Но позволю себе обратить внимание на состояние больного,— оно с каждым днём ухудшается. Если бы, как вы изволили заметить, опухоль должна была рассосаться, уже видны были бы признаки хотя бы медленного этого процесса.

Доктор Гильдебрант, высокий, чёрный, внушительный, при последних словах своего собеседника, маленького, толстенького Петра Антоновича Скюдери, домашнего врача графской семьи, нетерпеливо поднялся с места. Он не мог допустить, чтоб его мнение оспаривалось этим незаметным человечком.

— Делайте, как знаете! Если уморите, никто в Москве, по крайней мере, не скажет, что пациент Гильдебранта умер, эту честь припишут доктору Скюдери, — с подчёркнутой иронией Гильдебрант поклонился Петру Антоновичу и, сделав шаг по направлению к выходу, задержался, однако, на мгновение.

Но Скюдери, серьёзно ответив на поклон знаменитого хирурга, казалось, был занят какой-то своей мыслью и ничего больше не сказал.

По настоянию Скюдери, Василия Андреевича перевезли в Москву. Граф не жалел денег для спасения своего человека и дал домашнему доктору полное право по своему усмотрению распоряжаться лечением Тропинина.

Сильные боли лишали Василия Андреевича покоя и сна. Трудно было узнать в исхудавшем, бледном, неподвижно лежащем человеке прежнего Тропинина — румяного, сильного, неизменно приветливого и ко всем ласкового. Он теперь целыми часами не замечал никого, устре-

мив глаза в одну точку. И даже Арсюша, взглянув на отца, переставал шалить и потихоньку забирался в угол. Не умея помочь мужу, плакала целыми днями Анна Ивановна и только беспомощно и умоляюще взглядывала на доктора Скюдери, когда тот переступал порог их квартиры.

Разговор между врачами происходил в маленькой комнате рядом с той, где лежал умирающий художник.

Отдельные слова долетали до Тропинина, и он понимал только одно, что знаменитый врач отказался делать ему операцию, что положение его безнадежно, что он должен умереть. Лицо его оставалось спокойным, и серые глаза так же безжизненно устремлены были в одну точку.

Когда, проводив Гильдебранта, Скюдери вошёл в комнату Тропинина, тот с трудом повернул к нему голову.

Скюдери подошёл к постели.

— Пётр Антонович, спасибо вам за всё! Я знаю, что помру скоро, ни о чём не тужу. Семейку жалко... попросите у графа, чтобы ласков был, чтоб в обиду не давал. — Василий Андреевич показал глазами на несколько холстов, которые по его просьбе были перенесены из мастерской к нему в спальню. — Вот этого жалко... не успел закончить.

Лицо Тропинина зловеще желтело на белой подушке.

— Что вы, родной мой, голубчик! — Пётр Антонович, живой, впечатлительный, искренне любивший графского художника, совершенно растерялся и с трудом скрывал навёртывавшиеся слёзы. — Помирать мы вас не пустим. Ни за что не пустим! Вы этого индейского петуха Гильдебранта наслушались, да и то через стенку неправильно поняли. Насилу дождался я его ухода. Я вам другого хирурга разыскал. Я считаю, что после операции немедленно исчезнут гнойники на ноге, отравляющие вас, и вы снова будете здоровым.

Василий Андреевич грустно покачал головой.

— Нет, Пётр Антонович, резать себя не дам, а раз время помирать пришло, надо не упрямиться, а уступить.

Тропинин сделал попытку улыбнуться, но улыбка вышла странной, растерянной.



Портрет сына художника. 1820 г.

Утомлённая, измученная, но спокойная на вид, Анна Ивановна в белом чепце и переднике бесшумно и деловито приготавливала Василия Андреевича к операции. Сам больной, казалось, не замечал ничего и лежал не шевелясь, с закрытыми глазами. Арсюшу увели из квартиры, и в затихшей комнате настороженно белели чехлы и поблёскивали инструменты, разложенные на табуретке у широкого стола.

В двери постучали. В комнату вместе с Скюдери вошёл молодой стройный господин, одетый с тем изысканным изяществом, которое изобличало в нём француза.

Беланже, молодой доктор, привезённый из Франции генералом Киндяковым, за короткое пребывание в Москве сумел снискать себе славу талантливого хирурга, и его на свой страх и риск пригласил Скюдери. Беланже быстро подошёл к постели Тропинина. Василий Андреевич открыл глаза.

— Ошень рад быль снаком с балшой художник. Я слышаль о Тропинин анкор а Пари.

При помощи Петра Антоновича Беланже осмотрел больного и сказал решительно:

— Операсион сишас. Не можно ожидаль!

Оглядев быстро комнату, остался доволен.

— Карошо, можно сишас начинать.

Отойдя в сторону, он раскрыл свою сумку, вынув оттуда белый халат, стал сосредоточенно перебирать принесённые с собою инструменты.

Скюдери, внезапно побледневший, отошёл к окну, затем быстро вернулся к столу, у которого возился молодой доктор, и, последовав его примеру, надел на себя халат.

Решительный момент наступил.

„...ОТПУСКАЕТСЯ ВЕЧНО НА ВОЛЮ...“

Василий Андреевич был еще очень слаб. С усилием он поднимал своё исхудавшее тело с постели, часто покрывался испариной, медленно одевался, медленно передви-

гался с места на место, но ясно, радостно, остро ощущал — он жив. Все проявления жизни, самые незаметные, самые обыденные, казались ему новыми, значительными.

Доктор не разрешал, да и он сам знал, что не в состоянии еще работать, но это вынужденное бездействие было для него временем глубокой внутренней работы.

Болезнь утончила в нём художественное восприятие, и, наблюдая игру солнца на полированной поверхности шкапа, он различал те оттенки, цвета и тона, которых не замечал раньше. Лучи солнца — утренние, полуденные, предвечерние — все были для него различны.

Он не вспоминал прошлого, не думал о будущем, он был счастлив тем, что живёт, именно в эту минуту видит краски мира, слышит его звуки. И смех Арсюши, и мягкие, плавные движения Анны Ивановны, и грациозные игры котёнка — всё почти в одинаковой мере было для него полно смысла, значимости, красоты.

Ранним весенним утром, когда во всём доме и в маленьких комнатах мезонина застыло напряжённое радостное настроение весеннего праздника, Василий Андреевич лежал у окна на диване в ожидании графа. Графский казачок прибежал сообщить, что граф будет к нему и велел выздоравливающему не вставать с места и ничем не беспокоить себя.

Тропинин удостоился небывалой чести, но он не в состоянии был размышлять о глубоком внутреннем значении предстоящего посещения Ираклия Ивановича.

Когда дверь отворилась, и граф показался на пороге, Тропинин заторопился встать.

— Лежи, лежи, голубчик, я к тебе сам подойду.

Граф, торжественный, сияющий, по-праздничному прибранный и надушенный, подошёл к дивану.

— Сегодня, Василий Андреевич, и в твоей и в моей жизни особенный день.

Василий Андреевич вздрогнул и невольно, в ожидании чего-то, выпрямился на диване.

— Долго, Василий Андреевич, упорствовал я, долго не хотел расставаться с тобой... Когда же ты заболел, я слово себе дал, если ты выживешь... — Граф запнулся,

продолжал быстрее, тише: — Вместо красного яичка прими от меня вот это. . .

Василию Андреевичу казалось, что сердце оторвалось от своего обычного места и откуда-то издалека громко выстукивает раздельное «тик-так».

Граф развернул плотную бумажную трубку и, вобрав в себя глубоко воздух, начал читать:

«15 марта 1823 года предъявитель сего, крепостной, дворовый человек Василий Андреев сын Тропинин, при-



надлежащий графу Ираклию Ивановичу Моркову, отпускается вечно на волю. Посему должен он избрать состояние, какое на основании законов сам пожелает. . .» — Ираклий Иванович остановился.

Василий Андреевич широко раскрытыми глазами, мимо графа, мимо стен и домов московских, глядел куда-то в неведомый, широкий простор. . . Он был бледен странной, прозрачной бледностью, что-то хотел сказать, но слова комком застряли в горле, и вместо них вырывались какие-то нечленораздельные звуки.

Видя волнение Тропинина, чувствуя, что и сам начи-

нает волноваться, Ираклий Иванович молчал выжидающе и, наконец, поднялся.

— Успскойся, голубчик. Радость тебя, вижу, языка лишила, — и, отбросив на диван к Тропинину только что читанную бумагу, граф вышел из комнаты.

Василий Андреевич опомнился, поднял свою отпускную и стал читать её заново, вникая в каждое слово, полное такого глубокого для него смысла.

Глаза добежали до последней строчки. Лицо внезапно посерело, потускнели глаза, и с горечью вырвалось криком:

— А Арсюша? ¹

Ни одного слова об Арсюше. Ребёнок оставался крепостным. Граф нашёл способ, отпуская, всё же не вполне отпустить своего человека.

ОПЯТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Двадцать лет Тропинин не был в Петербурге. Целая жизнь прошла с тех пор, как, ошалевший от горя, проезжая в последний раз по петербургским улицам, жадно приглядывался он к домам и строениям, пешеходам и коляскам, чтоб вобрать в себя эти впечатления и запомнить их навсегда.

И теперь, подъезжая к заставе, отчётливо вспомнил момент расставания.

Он огляделся кругом. Неужели это те же улицы, что так часто рисовались его воображению? Они казались новыми, почти незнакомыми.

И когда на следующее утро, оставив семью в маленькой квартирке у Симеоновского моста, он один отправился в Академию, с новой силой странное, горькое ощущение отчуждённости от того, что казалось своим и близким, овладело им.

¹ Артемий Васильевич Тропинин оставался крепостным до смерти графа, но в своём завещании граф Морков дал ему всльную. Он тоже был художником, но не столь знаменитым, как его отец.

Медленно поднимался Василий Андреевич по такой знакомой закругляющейся лестнице. Шопот, шарканье ног, смешливые возгласы долетали до него.

Взад и вперед шныряли гувернёры, ученики, но никто его не знал, никто не помнил.

Дойдя до порога шинельной, Тропинин остановился. Двадцать лет назад, взволнованный полученным правом на золотую медаль, он так же стоял здесь, смущённый и растерянный. Мимо него пробежал счастливый, сияющий Кипренский, улыбался ему рыжеволосый Варнек. И чувство одиночества до болезненности остро овладело им... Нет, он не пойдёт сейчас дальше один. Он отыщет старых друзей. Он помнит, как восторженный юноша Варнек обливался слезами, оплакивая его судьбу. Пусть порадуетса теперь вместе с ним.

Варнек жил при Академии, и Василий Андреевич без труда отыскал его квартиру. Но, прежде чем постучаться, он несколько мгновений постоял тихонько, прислонившись к двери, ожидая, когда уляжется его волнение. Наконец решился, потянул дверь на себя.

Но кто это? Неужели Саша Варнек стоит перед ним?

Странно в этом худом человеке со злыми и утомлёнными глазами признать друга своей юности, Варнека.

— Ну и постарел же ты, братец! — бесцеремонно разглядывая его, воскликнул Варнек, стискивая руку.

«И ты, и вы постарели», — хотел было ответить Тропинин, но вместо этого, как бы извиняясь, тихо сказал:

— Ведь не шутка, друг, — 20 лет!

— Ну, заходи, усаживайся, будь гостем. Как же ты жил — рассказывай, а я ведь здесь в Академии хлеб у Щукина отбиваю, — заговорил быстро, порывисто Варнек.

Усаживаясь у окна, выходившего в сад, в тот самый сад, с которым у него было связано столько воспоминаний, взволнованный и смущённый, начал Тропинин свой рассказ о том, что было с ним за эти долгие годы, о жизни в Подолии, о путешествии двенадцатого года и, наконец, о долгожданной свободе на сорок седьмом году жизни.

— Не насмешка ли это — воля под старость! — и тут же, тряхнув не поредевшими еще волосами, прибавил:

— А всё же дождался, Александр Григорьевич!

— А что же ты сейчас здесь делаешь?

— Как что? — не понял Тропинин. — Я приехал для соискания степени. . .

— И чувствуете себя в силах? — сразу меняя тон с простого и дружеского на высокомерный и небрежный, процедил сквозь зубы Варнек.

— Когда вы с Кипренским ездили по Италии, я подавал тарелки к барскому столу, но я работал не только дни, но и ночи, никогда не покидая искусства, и думаю, что вправе рассчитывать на звание академика.

— Так, так, — постучал пальцами по коленям Варнек, — поглядим, интересно.

Каким-то холодком повеяло на Тропинина. И, перебивая внезапно наступившее неловкое молчание, он сказал вполголоса:

— Я всё про себя да про себя. Как же твои работы, успехи?

Александр Григорьевич неохотно и небрежно проронил несколько фраз.

Плохо клеился разговор.

Смущённый и опечаленный, выходил Тропинин из ворот Академии.

* * *

После долгих раздумий и колебаний Тропинин решил выставить в Академии три картины, писанные им в разное время: «Кружевницу», «Нищего старика» и портрет художника Скотникова.

Его московские друзья и почитатели наиболее отличали из всего огромного количества его картин именно эти три произведения.

И, представляя их на суд совета, Тропинин был совершенно спокоен и заранее уверен в успехе.

Гораздо более его волновался Ираклий Иванович, специально приехавший из Москвы, чтобы помочь, по возможности, бывшему своему человеку.

Хотя второй год Тропинин был уже вольный, но граф не мог отрешиться от взгляда на него как на свою собственность и неуспех художника готов был счесть личным себе оскорблением. Ираклий Иванович почти ежедневно

посещал Тропинина, суетился, предлагая хлопотать за него при дворе старой императрицы Марии Фёдоровны, куда он был вхож.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Я чувствую, что и без протекции добыюсь своего.

— А всё же, знаешь, с протекцией крепче!

Но Тропинин был твёрд.

— Благодарствуйте, ваше сиятельство. Я в своих силах уверен. Мои однокашники по заграницам учились, — я же, как изволите знать, у вас в Подолии лишь у натуры обучался, но чувствую, что силы наши равны.

— А ведь и место тебе исхлопотать можно было бы...

— Простите, ваше сиятельство, что откровенно своё мнение выскажу. Я всю жизнь под началом был, теперь уж стар становлюсь, и хочется мне только одного — спокойной и вольной жизни. Останусь я в Петербурге, — придётся то Оленину,¹ то другому кому подчиняться. Нет, уж лучше я никакой официальной службы на себя не приму. На мой век работы и заказов хватит.

— Ну, делай как знаешь, — уступил, наконец, граф, — тебе виднее. А вот, погляди, какой я гостинец тебе привёз. — И, удобнее усаживаясь в низенькое кресло, граф, раскрыв толстый короткий томик «Отечественных записок», с видимым удовольствием приготовился читать. — Послушай-ка, что Павел Петрович о тебе писать изволит.

Анна Ивановна, услышав последние слова графа, вышла из соседней комнаты и с работой присела у краешка стола, приготовившись слушать статью Свинына² по поводу выставленных Василием Андреевичем работ...

«Портрет девушки найден исполненным не только приятной кисти, освещения правильного, счастливого, колорита естественного, ясного, обнаруживающим чистую невинную душу красавицы и тот взгляд любопытства, который брошен ею невольно на кого-то, вошедшего в ту минуту. Обнажённые по локоть руки её остановились вместе со взором. Работа прекратилась. Вылетел вздох из дев-

¹ Президент Академии художеств в то время.

² П. П. Свинын — редактор-издатель «Отечественных записок».

ственной груди, покрытой кисейным платочком. Всё это изображено с такой правдой и простотой, что художник даёт право надеяться, что по приобщении его в академики он скоро сделается её отменным членом, и картину сию весьма легко принять за произведение самого Грёза.¹ Портрет нищего написан более шибкой, смелой, эффектной кистью, вроде Ланфранка, а портрет Скотникова с отчётливостью и выполнением тончайших планов на лице».

Граф окончил и с самодовольством поглядел на Тропинина.

— Видишь, как Павел Петрович превозносит тебя, а ведь ты всего лишь графа Моркова крепостной художник.

Василий Андреевич спокойно улыбнулся в ответ.

— Да, ваше сиятельство, этого оспаривать уж никто не станет!

* * *

Как только картины Тропинина появились в академических залах, они были встречены единодушным одобрением. Лица, близкие к Академии, диву давались, как это недоучившийся ученик профессора Щукина достиг таких же результатов, как и молодой Кипренский, много лет проводший в Италии. Одни доказывали, что таланту не надо учиться, другие говорили о преподавательском даровании Щукина, искали щукинскую «манеру» в картинах Тропинина. И Степан Семенович самодовольно улыбался, искренне гордясь своим учеником.

В петербургских гостиных шли оживлённые толки о самобытном таланте бывшего художника графа Моркова, интересовались его судьбой, передавали подробности его жизни. Потом всё вдруг смолкло. Каким-то странным выжидающим молчанием встречали каждое появление Василия Андреевича в залах Академии. Совет медлил с официальным признанием его как художника; и внезапно прекратились слухи о том, что, минуя «назначенного»,² он пройдет в академики.

¹ Известный французский художник, живший в конце XVIII века.

² Обязательная предварительная ступень к получению права исполнять программу на звание «академика».

Тропинин начал беспокоиться. Неужто прав был граф, считавший, что без протекции нельзя рассчитывать на успех?

Время шло, а положение всё не разъяснялось.

«Что же это такое?» — спрашивал сам себя Тропинин. Уверенность в своих силах, казалось, оставляла его. И снова чувствовал он себя маленьким учеником, не знающим, какой приговор произнесут над ним.

Он стоял у огромного окна скульптурного зала и, не оборачиваясь, глядел на серожелтую поверхность реки. В зале было тихо.

Неожиданно до слуха его долетели звуки приближающихся шагов и голоса.

— Я могу утверждать, что Варнек писал Скотникова в 1804 году, а Тропинин в 1821 году...

Василий Андреевич узнал голос своего защитника и невольно прислушался. Скрытый тяжёлой портьерой, он был невидим разговаривающим.

— Но нельзя же на этом основании распускать слух, что Тропинин списал у Варнека! Ведь возмутительно, больше скажу, подло так поступать!

Неизвестный голос возражал:

— Но Варнек не станет же лгать!

Громкий, лукавый смех прервал говорившего.

— А почему бы и нет?

Василий Андреевич прислонился к косяку окна. Так вот кому он обязан распространением гадких слухов, подозрительным молчанием и задержкой звания! Тот Варнек, кого он считал другом своей юности, чью мнимую смерть он так горько оплакивал!

«Что же жизнь делает с людьми, если восторженный юноша превращается в интригана!»

Через короткое время он подал заявление в Совет Академии о желании выставить еще одну работу, которую он выполнит немедленно. Ему был предложен портрет советника Академии Леберехта.

С этого дня Василий Андреевич, торопясь выполнить работу, стремился только к тому, чтобы покинуть поскорее так горько его разочаровавший Петербург.

Ч А С Т Ь С Е Д Ь М А Я

ПУШКИН!

Пятьдесят лет — уже не половина жизни, это конец её“, — такая мысль приходит порой в голову Тропинина, но он отгоняет её, как нелепость.

Какой же конец, когда жизнь началась только теперь, а всё его прошедшее — и робкие юношеские надежды, и лакейская служба потом за барским столом, вольные и невольные унижения, и разочарования в близких друзьях — всё это кажется давним-давним, почти позабытым сном.

С тех пор, как, отвергнув в Питере богатые заказы и выгодные службы, он в звании академика с шестью рублями в кармане вернулся навсегда в Москву, жизнь повернулась к нему своей радостной и чудесной стороной. Если раньше об его таланте говорили в небольшом, сравнительно, кругу близких к искусству лиц, то теперь слава о нём побежала по всей Москве. Из Рязани, из Орла, Смоленска, Калуги и других больших и малых городов приезжали в Москву разыскивать художника Тропинина. Со славой пришло и богатство, но в квартире на Ленивке не было ни дорогих ковров, ни мягкой мебели, ни оправленных в серебро перламутровых раковин, зато все стены

сплошь были увешаны картинами Тропинина, и солнце, врываясь в комнату, весело разбрасывало свои смешливые, радостные брызги по лицам важных генералов и нарядных барынь, степенных купцов и скромных чиновников. Целый день квартиру на Ленивке заливают солнце. Солнце, — говорит Василий Андреевич, — верный его спутник и помощник.

Рано утром, когда еще так хочется понежиться в постели, несговорчивый солнечный луч добрался до его закрытых век и настойчиво напомнил о работе. По-юношески бодро Василий Андреевич поднялся с постели, в халате и туфлях заторопился к умывальнику, и ему кажется, что и холодная струя воды, и солнечные пятна на полу, и звуки, несущиеся со двора, — всё это для него ново, всё он узнает впервые.

Неожиданный стук в прихожей удивил его. «Кто бы это мог быть в такую рань?» Опустив полотенце, Василий Андреевич прислушался. Анна Ивановна кого-то настойчиво приглашала войти и вслед за тем, приоткрыв дверь, сообщила:

— Васенька, Сергей Александрович Соболевский к тебе по делу.

Запахивая полы своего халата, освежённый и розовый, Василий Андреевич быстро вышел навстречу гостю.

Известный по всей Москве кутила и богач, Соболевский в полной бальной форме, в мундире и башмаках, стоял перед ним.

Василий Андреевич только руками развёл.

— Ну, батюшка, и пристыдили же вы меня: я только глаза успел продрать, а вы в параде. Дозвольте и мне приодеться!



— Прошу вас, Василий Андреевич, не торопитесь, — и он рассмеялся, играя белой перчаткой. — Вы спите, потому что вы труженик, а я бодрствую, так как бездельник. А ну-ка, угадайте, что заставило меня в такую пору вас беспокоить? Нет, вам не догадаться! Прямо с бала приезжаю домой, а Пушкин, Александр Сергеевич, только что проснувшись...

Василий Андреевич, усаживая гостя, живо спросил:

— Вы говорите, — Пушкин; а разве он не в ссылке?

— Нет, Василий Андреевич, он сейчас живёт у меня на Собачьей площадке. Это забавная история. Сидел он в своём Михайловском, и вдруг фельдъегерь приехал звать его к царю. Пушкин решил, что он арестован, простился со своими и прямо в Кремль. Царь спросил:

— «Принял бы ты участие 14-го,¹ если бы был в Петербурге?»

— Ну и что же?

— «Непременно, государь, — сказал Пушкин, — там были все мои друзья и только моё отсутствие спасло меня, но я благословляю небо...» — Простите, Василий Андреевич, я вам расскажу подробнее потом, — перебил сам себя Соболевский. — Итак, приехал я с бала домой, а Пушкин так мил, так мил, как дитя, и мне захотелось запечатлеть его навсегда таким, каков он сейчас. Знаете, не по сердцу мне все эти приглашенные и припомаженные портреты его, и Кипренского в том числе. И я приехал просить вас, умолять — едемте со мной. Вы его сделаете настоящим, домашним... Взгляните только на него, а потом уж он сам будет ездить к вам.

Василий Андреевич заторопился.

— Я за великое счастье почту писать Пушкина, мигом оденусь...

* * *

Когда Соболевский, пропуская вперёд Тропинина, открыл дверь своей гостиной, он прижал палец к губам:

— Тс! Надо застигнуть его врасплох!

¹ 14 декабря 1825 года было восстание декабристов.



Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

Спиной к входящим невысокий курчавый человек в темнокоричневом халате возился над чем-то в углу. Заслышав шаги Соболевского, он быстро повернулся, и Тропинин увидел, что Пушкин держал на руках, как ребёнка, маленького датского щенка. Заметив новое лицо и громко, по-ребячески, расхохотавшись, Александр Сергеевич выпустил щенка, и тот, обрадовавшись свободе, ковыляя, побежал к своей корзинке.

Соболевский знакомил художника с Пушкиным. Тропинин не отрываясь глядел в подвижное, такое необычное лицо поэта, запечатлевая мысленно и его странно меняющиеся глаза, и открытую шею, и тонкую руку с длинными отточенными ногтями и символическим перстнем на пальце.

ПРИЕЗД БРЮЛЛОВА

Петербург славил Кипренского, Москва гордилась Тропининым, — всё же известность русских художников не переступала порога родины.

Но вот молодой пенсионер Петербургской Академии выставил в Риме свою отчётную работу — и, как бывает в сказке, он проснулся знаменитым. Весь мир вдруг заговорил о нём.

«Гибель Помпеи, Карл Брюллов, русское искусство», — было у всех на устах.

Парижская Академия почтила Брюллова золотой медалью, в Риме сравнивали его с Рафаэлем; Вальтер Скотт¹ называл произведение его эпопеей.

Чествования сменялись чествованиями. Овациям не было конца. У его подъезда толпилась публика, чтоб поглазеть на «великого маэстро». Незнакомые приветствовали его на улицах.

Однако Петербургская Академия призывала своего питомца, и Брюллову пришлось покинуть Рим.

И снова по пути Брюллова триумф сменялся триум-

¹ Известный английский писатель, автор исторических романов.

фом. Из Одессы, куда он прибыл морем, он направился в Москву. И, несмотря на то, что Академия настойчиво напоминала художнику о скорейшем возвращении, Москва не выпускала его.

С волнением и радостью поджидал к себе Тропинин прославленного молодого художника. Все его немногочисленные, но близкие друзья — Егор Иванович Маковский, Ястребилов, Иван Петрович Витали, Дурнов и ещё несколько человек — собрались чествовать Брюллова.

Маленькая квартира наполнилась цветами: цветы в вазах и горшках, в кувшинах. Василий Андреевич расставлял вазы, декорировал стол, хлопотал, суетился.

— Ты, батюшка, кажется, старину вспомнил. . . Что же ты девушку позвать не можешь? Умаешься ведь. . .

— Нет уж, Егор Иванович, я всё хочу своими руками сделать. Когда-то я поневоле барам служил, а теперь хочу услужить достойному.

И Василий Андреевич, встряхивая всё ещё бодрой, хоть и совсем поседевшей головой, продолжал хлопотать у стола. Анна Ивановна только руками всплескивала, не поспевая за мужем.

— Ишь, какой пряткий!

Наконец Василий Андреевич присел, любуясь убранством стола.

— Гляжу я на тебя, Василий Андреевич, и дивлюсь. Неужто ни капли тебе не досадно на молодого счастливца, которому одним разом достался всеобщий почёт, всемирная слава!

Тропинин поднял глаза на говорившего.

— Что ты, батенька, что с тобой! Гордость, радость, что о русском искусстве заговорила Европа, — не помню, кто нынче сказал: «Огонь Везувия и блеск молнии, похищенной с неба, заключённые в раму силою искусства, пробудили дремавшую к искусству публику. . .» Преклонение перед гением испытываю я, а ты зависть ищешь.

— Ну, не сердись, дружище.

— Ведь он пошутил, Василий Андреевич. Охота тебе слушать!

Раздавшийся в эту минуту шум в прихожей и голоса за дверью привлекли внимание собравшихся.

— А вот, кажется, он и сам пожаловал сюда. — И Василий Андреевич порывисто бросился к двери. Широко распахнув обе половинки и протянув руки, он горячо и радостно приветствовал молодого художника. Оживлённое лицо Брюллова было бледно. Оно, быть может, казалось ещё бледнее от густой волны рыжих волос и чёрного бархатного сюртука. Он был взволнован. Поклонившись, остановился. Тогда один из гостей, белокурый и юный, выступив вперёд, начал робко:

— Карл Павлович, позвольте приветствовать вас стихами, вам посвящёнными.

В комнате стало совсем тихо.

А голос молодого поэта, читавшего нараспев, становился всё громче, звучнее:

«И мир и природу он в творческий миг
Вместил в свою душу и мыслью проник
Столетий минувших явление.
Пред ним протекали народы, века.
И сердце пылало, дрожала рука,—
Свершилось небес откровенье.
Великость Шекспира, могущество Данта
И грацию Тасса он мыслью гиганта
Воссоздал и слил воедино.
И творчеством кисти и чувством, как лавой,
Он обдал картину. Бессмертие со славой
Поверглися ниц пред картиной.
Но всем ли понятен художник молодой
То с ясной как небо, то с бурной душой,
Изящному сердцу доступный?
Отчизне доступна мирская хвала.
Россия с восторгом его приняла, —
И то был восторг неподкупный.
Художества свергли гнёт школьной неволи:
И русское сердце был наш Капитолий,
И в нём мы венчали Брюллова...»

Белокурый поэт остановился, замолчал. Стало совсем тихо. Брюллов быстро, взволнованно протянул руку поэту, крепко сжимая её. И вдруг комната загудела. Зашумели отодвигаемые стулья, и все бросились к художнику, наперебыв приветствуя, поздравляя его.

Различные во всём — один баловень счастья, только что начинающий жить, другой изведавший все тяготы жизни, приближающийся к закату своих дней, — оба художника, Брюллов и Тропинин, сблизились сразу и горячо полюбили друг друга.

Не было дня, чтобы Карл Павлович не заехал к Тропинину, и Василий Андреевич беспокоился, не видя в назначенный час входящего Брюллова. Часто вместо того, чтобы ехать на званый обед, устраиваемый в его честь, Брюллов сюрпризом подкатывал к дому Тропинина, уверяя, что щи и каша на Ленивке вкуснее для него изсканных яств в домах знатных бар.

— Там меня как зверя заморского показывают, а у нас друг для друга душа нараспашку.

Всматриваясь в красивую, своеобразную голову Карла Павловича, Василий Андреевич загорелся желанием написать его портрет. Тропинин изобразил его с рейсфедером в одной и папкой в другой руке на фоне дымящегося Везувия.

— Ведь и сам-то он совершенный Везувий, — говорил Тропинин, смеясь. Склонившись над портфелем, Василий Андреевич не слышал, как дверь отворилась и, в сопровождении верного своего приятеля, скульптора Витали, Брюллов вошёл в его мастерскую.

— А я снова вламываюсь и даже не спрашиваю, не надоел ли я вам.

Но полный восхищения взгляд Василия Андреевича, обращённый на молодого художника, красноречиво опровергал его предположение.

— Знаете, Василий Андреевич, что мы только что с Витали смотрели? «Гибель Помпей».

Тропинин изумлённо поднял глаза.

— Жаль только, что вас с нами не было. Гуляли мы под Новинским. Видим, — балаган, а на нем надпись: «Панорама — Последний день Помпей», а внизу маленькими буквами: «Мадам Дюше». Переглянулись мы с Витали и вошли. Не можете и вообразить себе, что за мазня! Просто карикатура какая-то! А мадам Дюше к нам:



Портрет К. П. Брюллова.

— «Ну что, каково? Сам Брюллов ведь был у меня и сказал, что здесь освещение более, нежели у него».

— «Чудо!» — подтвердили мы и, расхохотавшись, бегом бросились оттуда.

— Надо бы эту шельму привлечь к суду за обман!

Но Брюллов весело махнул рукой.

— Занятно в Москве... и хорошо. — И вдруг неожиданно замолчал. Не говоря ни слова, прошёлся раза два по комнате и остановился в задумчивости у окна.

Тропинин повернулся к своей работе, а Витали, стоя у мольберта, казалось, сравнивал портрет с оригиналом.

Брюллов тихо проронил:

— И как уезжать-то не хочется! — и затем повернулся к Тропинину: — Вчера бродил по Кремлю и, знаете, Василий Андреевич, вспомнил Венецию, Успенский собор и святого Марка — та же древность, мрачность.

Василий Андреевич оторвался от портрета.

— И поездил же ты по свету, братец ты мой!

— Да, Василий Андреевич, много поездил, много разных людей видал, а такого, как вы, не встречал!

— Что ты, голубчик! — замахал на него руками Василий Андреевич. — С чего это ты меня славить начал?

— Грустно стало, что покидать Москву надо...

Василий Андреевич встал и подошёл к Брюллову.

— А что случилось, Карл Павлович?

— Из Академии снова напоминание.

Брюллов вынул из кармана пакет.

— А я вот возьму и не поеду. Останусь в Москве навсегда.

Василий Андреевич молча глядел на него.

— Стану у вас жить, Анна Ивановна!

Анна Ивановна поспешила на зов; вытирая руки о синий передник, оторвалась, очевидно, от работы.

— Возьмёте меня на хлеба?

Анна Ивановна вопросительно глядела на мужа, на Брюллова, не понимая, всерьёз ли он говорит.

— Шутит он, Аннушка, не останется он с нами. Его Академия зовёт.

— Нет, не шучу! Где ещё, кроме Москвы, найду таких друзей, найду такого человека, такого художника, как вы!

Всей жизнью своей вы доказали, как дорого вам искусство. В несчастье вы были тверды, всегда чисты совестью перед собой, перед людьми и перед искусством, Василий Андреевич! — Брюллов вскрикнул так громко, что созерцающий его портрет Витали вздрогнул и Анна Ивановна, собиравшаяся выйти из комнаты, остановилась в дверях. — Я не могу остаться в Москве, вы правы. Но вы можете ехать со мной.

Тропинин молчал удивлённо.

— Мы будем жить вместе, работать в одной мастерской: Тропинин и Брюллов! Подумайте только! Ведь мы перевернём весь мир, воскресим искусство!

Затуманенным взглядом глядел Василий Андреевич на Брюллова.

— Анна Ивановна! Собирайтесь в дорогу! Арсюшу в Академию отдадим! Оба следить за ним будем.

Брюллов схватил обе руки Тропинина, стараясь заглянуть в его глаза.

— Что же вы молчите, Василий Андреевич?

Тропинин опустил на стул у окна. Несколько секунд длилось молчание.

— Поздно, родной мой, начинать мне новую жизнь. Я своё прожил. Тебе ещё долго жить и работать. Я тебе буду только обузой. Надо мне в Москве доживать. По-езжай уж один...

Ч А С Т Ь В О С Ъ М А Я

ЛАВКА СТАРЬЁВЩИКА

Потемневшие бронзовые люстры, тусклые венецианские зеркала, из которых, как из-за пыльной завесы, проступают отражения человеческих лиц, золочёные веночки деревянных рам, кресла с высокой, слегка изогнутой спинкой, толстые с застёжками книги, пожелтевшие гравюры... Ни пройти, ни протиснуться! Лавка старьёвщика заставлена так, что, кажется, можно задохнуться от тесноты и пыли. Однако, несмотря на это, начальник архива иностранных дел, князь Оболенский, с недавних пор частый посетитель старого менялы и плута Волкова.

Над пузатым, наборного дерева елизаветинским комодем висит несколько попорченный сыростью, не вделанный в раму портрет. Он-то и привлек сюда старого князя.

Отойдя в сторону и изогнувшись как только можно почтительней, Волков наблюдает за богатым покупателем.

— Гляжу, вижу — и глазам своим не верю...

— Ваше сиятельство, можете не сумлеваться.

— Погоди. Ты говоришь, от вдовы Смирновой... Как же он попал к Смирновой, ежели сей портрет был заказан Соболевским и у него в доме находится...

— Верьте не верьте, ваше сиятельство, а только мой портрет настоящий, а у господина Соболевского — копия-с.

— Да как же это возможно? Ежели хочешь, чтобы я портрет сей купил, — а приобрести его, не скрою, мне желательно, — то объясни всё чистосердечно и без плутовства.

Князь оглянулся, как бы ища, на чём присесть. Уловив этот взгляд, старьёвщик услужливо придвинул покупа-



телю небольшое мягкое креслице, предварительно смахнув с него предполагаемую пыль, и начал не спеша.

— Доложу вашему сиятельству всё подробно, как сказывала мне вдова Смирнова. Вскоре после того, как знаменитый наш сочинитель заказал Тропинину собственный портрет и преподнёс его господину Соболевскому, у коего произошло горестное событие — скончалась ихняя матушка.

— Знаю, знаю...

— Чтоб рассеяться, господин Соболевский задумал ехать в чужие края, а сей портрет просил художника Тропинина отослать к ним на квартиру. Тропинин же по-

ручил сию заботу молодому своему ученику, копиисту Смирнову. Господин Соболевский имели неосторожность посмеяться над Смирновым, что никогда, мол, ему не сравниться с учителем, а тот возьми да и посмейся над Соболевским: снял с сего портрета копию, упаковал бережно и отправил по адресу, а сей драгоценный портрет унёс с собой. — Волков поднял глаза кверху. — Смирнов скончался, царствие ему небесное, а вдова его, находясь в большой нужде, уступила мне сие произведение.

— А ты не врёшь всё?

Волков снова воздел глаза к пыльному потолку, как бы призывая его в свидетели своего чистосердечия.

— Ваше сиятельство, ежели вы не имеете доверия к моим словам, попросите самого Тропинина осмотреть сей портрет. Добросердечный Василий Андреевич, я уверен, не откажет вам в одолжении.

Князь принял к сведению совет Волкова. И на следующий день из лихо подкативших к меняльной лавке саней вышли Оболенский с Тропининым.

Василий Андреевич, несколько сутулясь, прошёл вслед за Оболенским в узенькую дверь. Войдя в лавку, Тропинин вздрогнул и остановился. Со стены, опустив одну руку, а другой облокотясь на столик, задумчиво глядел Пушкин.

— Ну что, Василий Андреевич, признаёте?

— Как не признать собственной своей кисти?

Оболенский встrepенулcя.

— Ну, Волков, тебе деньги, мне портрет.

Волков протянул руку к стене.

— Погоди, впрочем. Василий Андреевич, дозвоьте послать портрет на вашу квартиру. Он ведь попорчен. Надеюсь, вы согласитесь подправить, приписать где надо?

Тропинин поднял руку, как бы защищаясь.

— Помилуйте, ваше сиятельство, разве посмею я старческой своей кистью тронуть то, что было списано с живого Александра Сергеевича! Разве можно по памяти восстановить хотя бы одну чётточку в лице незабвенного нашего поэта! Я не могу без сильнейшего волнения глядеть на этот портрет; он напоминает мне те часы, которые я с глаза на глаз проводил с нашим великим поэтом!

И этот портрет напоминает мне моё молодое время... Я чуть не плачу, видя, как он пострадал! Наверное, находился в каком-нибудь сыром чулане или в сарае...

— Но вы, Василий Андреевич, не откажетесь, по крайней мере, его несколько почистить?

Василий Андреевич замолчал, но через несколько минут он сказал: «Лица Александра Сергеевича я не трону! Это было бы святотатством, а почистить — почищу; и перстень на указательном пальце, и воротник от халата. И ещё кое-какие мелочи... Пришлите портрет! Всё, что возможно будет, — я сделаю!

Василий Андреевич стал прощаться.

— Я довезу вас до дома.

— Благодарствуйте, ваше сиятельство. От Волхонки до Ленивки рукой подать. Я с удовольствием пешком пройду.

Василий Андреевич шёл медленно, опираясь на палку, притаптывая пушистый снег, только что налетевший на тротуар. Посещение Волковской лавки вызвало в душе грусть, тревогу.

Давно ли всё это было? Каких-нибудь десять-пятнадцать лет тому назад, а силы не те... Разве теперь написал бы он так Пушкина? Разве смог бы он передать на холсте это необыкновенное лицо?..

В памяти всплыли свидания с поэтом, сеансы на Ленивке, когда так близко от него был великий поэт и в постоянно меняющихся, то грустных, то весёлых глазах его можно было читать всю его жизнь — бурную, разнообразную.

«Пушкина уж нет, и я не тот».

Скупые слёзы навернулись на глаза.

ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Василий Андреевич не заметил, как подошёл к своему дому. Навстречу ему выбежал радостный Арсюша, размахивая белым конвертом.

— Письмо из Петербурга!

— Уж не от Карла ли Павловича?

Скинув на руки Арсюши шубу и шапку и разматывая на ходу пёстрый шарф, повязанный на шее, Василий Андреевич, сразу помолодевший, забывая недавние горестные размышления, бодрым шагом направился в гостиную.

— Аннушка, — кликнул он жену, — иди-ка письмо от Брюллова читать.

Когда Анна Ивановна пришла и с работой села у стола, Василий Андреевич тоже устроился поудобнее в кресле и приготовился слушать.

Арсюша начал читать:

— «Поздравляю вас, милые друзья, с Новым годом, с новым счастьем, сиречь. Витали заслужил всеобщее одобрение от всего совета Академии по конкурсу для барельефов Исаакиевской церкви. Единодушно всё собрание Академии признало его способным произвести достойное украшение собора св. Исаакия. Я задыхаюсь от восторга, что, наконец, не одна протекция, но и истинный талант может быть уважаем в России. Радуйтесь, наступает время, что и матушка Москва может погордиться своими детушками. Спасибо от Питера Москве. Я не могу больше говорить порядочно от удовольствия...»

Василий Андреевич, молчаливый друг, простите меня, если я прежде сего не писал вам, откладывая со дня на день. Простите, умоляю вас простить! Целую вашу душу, которая по чистоте своей способнее всех понять вполне восторг и радость, наполняющие моё сердце. Кто, кроме вас, поймёт меня? Я никого не умел так скоро оценить, кроме вас; ваши душевные способности и редкие достоинства — истинные блага на земле, — и как они редки! Вам передаю мою радость; сообщите её московским, особенно милым нашим приятелям: Дурнову, Маковскому, Фисову, Добровольскому, Соколовскому, Ястребилову, с жёнами и сёстрами их».

Арсюша прервал чтение и запел громко: «до, ре, ми, фа...»

Василий Андреевич вскинул удивлённо глаза.

— Ты что ж балуешь?

— Здесь так написано, — и Арсюша показал отцу листок письма.

— Ну и шутник Карл Павлович! Читай, читай дальше, — торопил он сына.

— «Скоро буду или надеюсь быть к вам вместе с Витали непременно, если не остановят меня обстоятельства. Прощайте, посылаю вам запечатанный поцелуй. Будьте счастливы. Сего вам желает преданный ваш друг К. Брюлов. 10 января 1840 г.».

Арсюша давно уж кончил читать, а Василий Андреевич сидел молча.

— Что же ты, Васенька, не скажешь ни слова? — спросила Анна Ивановна, подняв глаза на мужа.

Василий Андреевич украдкой вытирал слёзы.

— Мне бы радоваться, что письмо от друга получил, а я, вот видишь, раскис, Александра Сергеевича покойника вспомнил, сам уж в гроб гляжу. . . Пускай бы, вправду, приезжал поскорей, а то как не увидимся больше. . .

Ни Арсюша, ни Анна Ивановна, растерявшись почему-то, ничего не ответили, и слова Василия Андреевича, прозвучавшие глухо, как будто повисли в тишине комнаты.

ЭПИЛОГ

В той части Москвы, где еще недавно тишина уютных переулков нарушалась лишь гроыханием барских экипажей, где почти не видно было пешеходов, а укывшиеся в зелени особнячки гостеприимно распахивали свои двери лишь молодцеватым щёголям-гусарам и нарядным барыням, началась новая жизнь. Один за другим возникают здесь многоэтажные, густо населённые дома.

Недоумевая и чуть-чуть негодую, поглядывают чинные особняки на своих беспокойных соседей.

Взад и вперёд с хохотом и громкими разговорами пробегают по лестницам молодые люди в чёрных тужурках, студенты, и длинноволосые, в синих и белых блузах, художники. Слышны здесь и женские голоса.

Молодые девушки без горничных и провожатых весело взбегают по этим лестницам.

С утра и до вечера, и даже до глубокой ночи шумит здесь жизнь.

Давно уже вся Москва заснула крепким сном. Погасли фонари. Широкие бульвары и кривые улицы погрузились в темноту. Но в верхнем этаже большого дома,

выросшего недавно в глубине одного из путаных арбатских переулков, светится огонь.

Постовой городской угрюмо покосился на яркое пятно окна. С каким удовольствием он задремал бы легонько, как дремлет сейчас на углу не дождавшийся седока извозчик, но смущает неурочный огонь. . . Кто знает, не злоумышляют ли люди, что так долго не спят. Народ-то всё в доме молодой, непутёвый.

А «непутёвому народу» и в голову не приходит, что затянувшаяся вечеринка приносит кому-то беспокойство. . .

Вокруг стола, где на газетной бумаге сдвинуты чайные стаканы, колбаса на тарелке и сахар в стеклянной баночке, расположилось несколько человек. Молодая девушка быстро заносит на бумагу лицо своего соседа и не замечает, как сидящий позади неё высокий светловолосый юноша тщательно зарисовывает изгиб её шеи и сползающий на спину узел волос. Каждый из присутствующих занят какой-то работой, доделывает, дописывает или зарисовывает что-нибудь вновь.

В эту минуту вниманием общества завладел невысокий шатен, взобравшийся на подоконник.

— Друзья мои, бросьте к чорту все ваши этюды и эскизы, картоны и холст и скажите себе честно: ничего из этого не выйдет, — идите в университет, поступайте в канцелярии, берите места сельских учителей, только бросьте искусство. . .

Возмущённые голоса загудели в ответ.

— Да ты что, Серёжка, мелешь? Объяснись!

— Вы — слепцы. Вы думаете, можно стать художниками, настоящими художниками, сидя в Москве? Мы ищем красоты, а оглянитесь вокруг — маленькая прокуренная комната, серые стены, убожество. . . и ничего впереди. Оглянитесь на прежних художников, — разве Тициан, Рубенс так жили?

— Эк, куда хватил! — дружный хохот покрыл последние слова.

— Я думал, ты дело скажешь, — поднял глаза светловолосый юноша, отрываясь от работы, — а ты с Тицианом равняться вздумал! — Он подошёл ближе к оратору и, как бы успокаивая его, положил руку на плечо. — Красоту

нужно искать не там, где ты её ищешь, не в бархате складок, не в переливах перламутра... Тициан писал как никто... но этого теперь для нас мало.

Все десять голов, находящиеся в комнате, напряжённо повернулись в сторону говорившего.

— Оставь, Сергей, эту старую ошибку — стремиться к «красивому»; не в красивости дело, а в правде... Ошибка, друзья мои, думать, что в правде нет красоты. Для нас ценен тот, кто напишет серенький, да, да, такой презираемый тобой, серенький русский пейзаж, лошадь, пахаря, родное наше, настоящее. Не в Петербурге, не в Москве надо жить и писать, а где-нибудь в глубине страны — поближе к народу. А что может дать народ! Какой это громадный родник!

— Правильно, молодец, Андрей!

Кто-то даже захлопал в ладоши.

Андрей рассмеялся.

— Чорт возьми, мне аплодируют. — И с комической важностью он поклонился товарищам. — Благодарю вас, господа, я весьма польщён.

— Друзья! Идите-ка поближе, — что вы на это скажете?

Андрей вынул из папки небольшой портрет мальчика и поставил его на стол, прислонив к сдвинутым в кучу стаканам.

Все присутствующие бросились к столу.

— Как хорошо! Неужели это твоё, Андрей?

— Да, моя копия!

— А чья же это вещь? Кто автор?

— Тропинин! Портрет его сына Арсюши.

— До чего же чудесно! Даже в твоей передаче.

Андрей поморщился и повторил, растягивая слова: «Даже в твоей передаче!»

Девушка засмеялась.

— А ты уж и обиделся, Андрюша!

— Нет! Обижаться не за что! Я, конечно, не Тропинин. Вот у кого надо учиться! Он учит, как любить правду в искусстве. Он искренний и честный художник. Он искал красоту не там, где вы её ищете. Не в тончайших кружевах, не в переливах атласа и бархата, — он ста-

рался передать душевный мир человека. Все вы знаете портрет Пушкина, много ещё есть портретов нашего поэта — и Кипренский писал его, есть и работы гравёра Уткина и много других, — но подобного портрета нет у нас! Вся Россия его времени встаёт перед нашими глазами. Вот крепостная девушка, известная кружевница. Все мы с детства знаем её. Вот дворовый человек, играющий на гитаре, вот и пожилая женщина с курицей и ещё десятки и сотни русских людей, запечатленных великим мастером, встают перед нами.

Но Тропинин прожил трудную, очень трудную жизнь, он был крепостным человеком и не был свободен в своем творчестве. Ему приходилось расписывать церковь в поместье графа Моркова. Однако все его святые лишены всякого мистицизма, все они имеют портретное сходство с членами Морковской семьи. Тропинин был настоящий реалист, и этим он особенно ценен для нас.

— Друзья! А ведь светает! — воскликнул Андрей.

Действительно, огонь лампы казался уже жёлтым пятнышком, а из углов явственно выступали и мольберт с начатой картиной и ящики с красками.

— А не выйти ли нам, ребятушки, из этой прокуренной комнаты на вольный воздух?

— Великолепная идея! — сказала девушка с тяжёлым узлом светлых волос.

И тут же, без дальнейших разговоров, разобрав шубы, пальто и башлыки, которыми была завалена кровать, юноши и девушки весёлой гурьбой побежали вниз по лестнице.

Продежуривший всю ночь у высокого дома городской глянул на погасшее окно пятого этажа и снова насторожился: чересчур громко звучали молодые голоса и чей-то тенорок запел: «Проведёмте ж, друзья, эту ночь веселей».

О Г Л А В Л Е Н И Е

Часть первая

Вася захворал	5
Черноволосая девушка	11
В кабинете графа	17
Кондитерский ученик	20
Сиреневый куст	22

Часть вторая

Академия художеств	27
В эрмитажной галерее	31
В конференц-зале	37
Профессор Шукин	41
Тропинин уезжает	46

Часть третья

В Подолии	48
Устин	51
Побег Данилевского	59
У пана Волянского	64
Неожиданная встреча	68
Таинственный незнакомец	72
Вспомнили!	78

Часть четвертая

В Москву!	84
В глубину России!	87

Часть пятая

Разорение	90
В московском доме	92
Карточная игра	100

Часть шестая

Болезнь Тропинина	105
«...Отпускается вечно на волю...»	111
Опять в Петербурге	114

Часть седьмая

Пушкин!	120
Приезд Брюллова	125
Тропинин и Брюллов	128

Часть восьмая

Лавка старьевщика	133
Письмо из Петербурга	136
Э п и л о г	139

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Прилежаева-Барская Бэла Моисеевна. «Крепостной художник»

Ответственный редактор Л. А. Джалалбекова. Художник-редактор Ю. Н. Киселев.
Технич. редактор Н. М. Сусленникова. Корректоры А. К. Петрова и
А. П. Нарвойш. Подписано в набор 11/VI 1955 г. Подписано к печати 28/XII
1955 г. 60 × 84¹/₁₆. Печ. л. 9. Усл. п. л. 8,22. Уч.-изд. л. 6. Тираж 100 000 экз.
М-60465. Цена 2 р. 80 к. Ленинградское отделение Детгиза.
Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 240.
2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР.
Ленинград, 2-я Советская, 7.

2 р. 80 н.